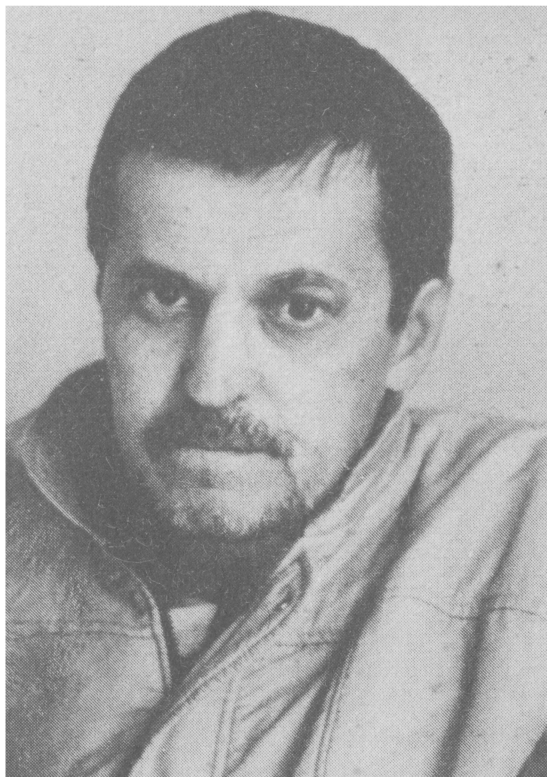


БИБЛИОТЕКА

ISSN 0132-2095

ОГОНЁК

МОСКВА



№ 46 1991

*Борис ЧЕРНЫХ*

**МАЛЕНЬКИЙ ПОРТНОЙ**



Б И Б Л И О Т Е К А « О Г О Н Е К » № 46

Издается с января 1925 года

Борис ЧЕРНЫХ

# МАЛЕНЬКИЙ ПОРТНОЙ

РАССКАЗЫ

Москва. 1991

## Борис ЧЕРНЫХ

*Борис Иванович Черных родился в 1937 году, в городе Белогорске Амурской области, окончил 9-ю школу в городе Свободном и юридический факультет Иркутского университета. Был на комсомольской и журналистской работе. В 1966 году за письмо съезду комсомола «Что делать? Некоторые наблевшие вопросы нашего молодежного движения» исключен из КПСС. Далее — на педагогическом поприще, рабочий, безработный.*

*В 1982 году арестован госбезопасностью и приговорен к 5 годам строгого режима и 3 годам ссылки. Инкриминировалось создание Вампиловского книжного товарищества. В 1987 году освобожден вместе с другими политзаключенными страны и в 1990 году реабилитирован.*

*Автор оригинальных рассказов, очерков, дидактических статей в союзных и республиканских журналах.*



## МЕСЯЦ ЯСНЫЙ

Есть тайны добрые. Еще вчера в оврагах и в лесных околках крепко держались снега, еще вчера ходили низкие тучи, обещая стояние холода, а нынче утром выкатилось солнце — и снег поплыл ручьями в пойму Умары, распахнулись лица и ожили птичьи голоса. Весна одолела запозднившуюся зиму. И то есть тайна — добрая тайна прихода весны.

На свете много добрых тайн. Таинственно машет веткой вяз, таинственно дышит сдобным теплом хлебозавод, таинственно смеется учительница — она научила первачей прочтению слова «мама», и светятся тайной глаза девушек, несущих по миру бремя первой любви.

Но есть тайны с нахмуренным челом, с замкнутыми устами, тайны немые, вызывающие к разоблачению.

Я знаю множество тайн. В специальной тетрадке я даже классифицирую их: тайны природные, тайны бытовые и национальные, тайны социальные. Собственные мои тайны, тайны моих детей и тайны любимых женщин — вот чем заполнена удивительная тетрадь в письменном столе под таинственным же грифом Т — У — М\*.

Но и у тайн — я поздно это открыл — есть свои тайны. Вдруг оказывается, что тайна, мучившая всех, вовсе и не тайна, а только наряжалась ею; а рядышком ходила простушка, всем надоевшая глупой очевидностью; а завтра простушка предстала загадочным существом. Иногда объявляют тайной то, что всем понятно, и — самое удивительное — все молча соглашаются считать нетайну тайной и накручивают вокруг нетайны кучи небылиц, а позже создают всякие комиссии по раскрытию тайны, которая — как король в сказке Андерсена — давным-давно голая.

Тайна рождения в июльскую ночь Маленького портного есть тайна злая и добрая одновременно. Я выведу ее на белый свет немедленно: сам по себе прием этот — томить читателя тайной — нехороший, набивший оскомину.

В ночь с двенадцатого на тринадцатое июля в большом коммунальном доме на Шатковской рожала женщина, роды оказались долгими и трудными. Догадываясь, что роды будут нелегкими, роженица загодя

---

\* Тайны Управляют Миром.

выкрасила оконные шторы в светло-зеленый цвет и стены побелила свежей известью, но в известь добавила сильную дозу купороса и в этих сине-зеленых комнатах стала ждать дитя.

Дни накануне стояли сухие и высокие, пожух на огородах подсолнечниковый лист. Небо в полдень походило на высушенный добела полог пикейного покрывала. Урийск задыхался в тополином пуху.

В городском исполкоме дебатировалось решение переместить потоки воздуха из долины Умары, где вторую неделю, не приближаясь к Урийску, полыхала гроза; решение это, размноженное на «Редингтоне», переходило из отдела в отдел, собирая визы, и добралось до Бушueva, председателя исполкома. Бушуев долго размышлял, прежде чем вынести руководящее указание, и наконец решился — ему и самому было несладко работать в духоте. Через сутки, по точному предписанию Бушueva, грозовые облака закрыли подступы к городу.

Город вел себя многолико в этот вечер. Гроза, обещанная Бушувым, не только не напугала молодежь, а как бы подстегнула ее, к городскому саду тянулись парочки и одинокие. Из Малой Сазанки на крытом студебекере прибыл матросский оркестр. Детина-мичман в ослепительно-белом кителе и в белой фуражке с воронным околышем построил матросов на главной аллее и повел их в сад.

А сумерки быстро густели. Белоснежные форменки моряков, растворяющиеся в глубине аллей, подвинули директора сада врубить свет, сразу, как на карнавале, темнота под кронами дубов и берез сгинула, и на освещенных аллеях матросы Умарской военной флотилии играли из медных труб мелодию старинного вальса, эту мелодию слышала и женщина на Шатковской, молившая о дожде.

Внезапный удар грома потряс Урийск, о крыши домов забило градинами дождя, вскоре дождь опомнился и пошел не торопясь, спокойно и устойчиво. Запахло мокрой корой дубняка. Говор в подворотнях постепенно глох, гасли огни в окнах — а под куполом большой летней танцевальной площадки молодые люди в праздничных платьях кружились не уставая.

К полуночи грохотание затихло, дождь лопотал мерно, снова осветились веранды домов, от крыльца к крыльцу потекло покряхтывание — старожилы Урийска дышали полной грудью, не торопясь отойти ко сну.

А женщина все не могла родить и обращалась с мольбой к отсутствующему лицу, видимо, отсутствующее лицо возымело власть над роженницей.

— Ванечка, пошли мне успокоение, — шептала женщина, — дай ты мне поскорее девочку. Девочке трудно жить на земле, зато доверия ей больше.

Шепот этот походил на бред. Неумелая повитуха соседка Софья Гавриловна могла бы окрестить мольбу женщины бредом, но нет, повитуха с ропотом вступила в монолог роженницы:

— Как же, доверяя девочке больше... Ты, Гутя, сама евонной родилась. И что, сладко тебе приходится?..

Схватки как раз отпустили, в комнате, освещаемой тусклым китайским фонариком, разгорелось некое подобие спора. Смешно и нелепо — молодая женщина спорила с повитухой о том, кого ей рожать, мальчика или девочку, будто бы Творцом не предопределено, кому родиться. Но еще смешнее при шуме грозы и дождя, при сполохах молний двум женщинам — в канун единственного и только им принадлежащего факта — рассуждать о преимуществах женского рода над мужским.

— Оно, конечно, — говорила Софья Гавриловна, — мы лямку тянем лучше, но она видят звезды, а мы их не видим.

— Я тоже видела звезды, когда познакомилась с Ванечкой, я видела самые дальние звезды, которые раньше видеть не могла.

— Воно-ка, видела! — поддакнула соседка. — Это Ванечка глаза твои распахнул. Оне далеко смотрят, мужчины, но в голове у них туман и морок...

Город не спал, прислушиваясь к говору странных женщин. В те дальние времена Урийск приобрел черты любопытствующего и распознающего чужие тайны города. Софья Гавриловна приняла мальчика — родился мальчик — под утро. Мальчик как мальчик, со стариковским сморщенным личиком. Особого восторга от белого света мальчик не выказал. Ему показалось здесь холодно, и неуютно, и голодно. Мать потеряла молоко на третий день, перевела сына на искусственное питание, бегала по детским врачам и клиникам. Мальчик плакал, требовал материнскую грудь, терзал ее беззубым ртом и отваливался со злостью, грудь была пуста. Прошло полгода, и год миновал, мальчик плохо держал головку, у него стыли ручки и ножки.

— Не жилец, — сказала Софья Гавриловна.

— Типун тебе на язык, — отвечала мать. — Я что отцу-то его скажу?

— Да где он, отец? И есть ли он, Гутя?

— Есть! — отвечала мать. — Пусть тайный, но есть отец у Сережи.

— Ладно, есть, — вздохнув, соглашалась Софья Гавриловна. — Но вы что думали, когда зачинали ребеночка, а? Зачинать ребенка в погибели нельзя. — Мать молчала. Она поехала в погибель, в потемки, чтобы зачать дите. Если бы любимый жил за краем света, где-нибудь на Аляске, она пробралась бы и туда. Выбора нет, когда его нет. Она зачала сына в долгую полярную темень и отослана была любимым к солнцу, в Урийск, и родила. Идет двенадцатый месяц — мальчик не держит головку. А и еще хуже — на крохотных его пальчиках открываются раны и кровоточат. В детской консультации умудренный опытом доктор Фанфельд назвал болезнь страшно — костным туберкулезом.

— Да, а где его отец? — строго спросил врач. — Почему в графе «отец» прочерк?

Мать молча покинула врача, она думала: долгая полярная ночь говорила ее мальчику. Мать написала слезное письмо бабеньке, та ответила: «То кара за неверие твое, молись». Мать отыскала дорогу в церковь. Никольский храм в Урийске стоит на площади имени Сергея Лазо, рядом с памятником борцам революции, соседство не кажется странным, ибо две святости умеют ужиться рядом. Мать шла по площади и думала — здесь она девчонкой маршировала на парадах, красногалстучная и счастливая.

Она припала к алтарю; ее окружили старухи, им было в диковинку — молодая женщина обращается к распятию. Старухи-то и надоумили ее пойти к Полячке.

Полячка — это прозвище, а не имя и не фамилия — жила на другом краю города, окна ее дома смотрели с холма в долину Умары.

Полячка несла крест своего имени, придуманного урийцами, с редким достоинством. Возможно, это было у нее наследственным, но я-то думаю — благоприобретенным, нашим. Ибо Полячка давным-давно стала местной примечательностью.

Когда мать постучалась к ней, Полячка созерцала грозное наводнение, подступившее к холмам, Урийск стоит на холмах. Мать оробела. Она впервые видела женщину, о которой шла молва как о человеке, имеющемговор с нечистой силой. Весь облик Полячки подтверждал молву — с непокрытой головой она выглядела стройной и красивой женщиной в летах за тридцать, не более, одинокой и гордой. Созерцание грозного наводнения было для нее естественным и привычным. Но надо сказать — созерцать другие виды с холма невозможно: всю равнину окрест заповилили воды разлившейся Умары. Но мать оробела — красивая женщина наедине со стихией привела ее в трепет. И первые слова Полячки понуждали страх:

— У вас нет мужа, и то есть тайна ваша, — сказала она. — А мальчик вашего вы зачали в снегах и во тьме.

Мать опустила повинную голову.

— Но то, что говорят обо мне в этом городе, — продолжала Полячка, — а вы верите этому, сплетня. Я не шаманка. Я лечу травами.

Полячка пристально смотрела в глаза матери.

— Они, — она показала на город, — уж двадцать лет, как отреклись от трав. И чего они добились? Здоровье населения слабнет, нравы ухудшаются. Люди научились шпионить и доносить.

Мать слушала речь Полячки и заметила: сын, плохо принимавший чужие лица и слова, не плачет, сын слабо развернул головку к Полячке и слушает ее тоже.

— А мальчик ваш симпатичен мне, — вдруг сказала Полячка и длинными пальцами тронула щеку его.

Они прошли в дом. В доме все блистало чистотой и уютом.

— Если отец вашего мальчика отторгнут от вас, на что вы живете? Чем кормитесь?

— Я шью,— отвечала мать.— Бабенка подарила мне швейную машину «Зингер», и я шью, говорят, неплохо, так что расплатиться смогу

— У, милая, не об этом забота. Беда привела вас ко мне, беду надо отвести. Может быть, я отведу беду. Но прежде распустим воск, я хочу знать рисунок судьбы.

Полячка открыла вьюшку, зажгла припасенные в печи лучины, набросила смолистые поленья, огонь взялся сразу. В мелкую посудину из светлого металла она положила бесформенный кусок воска.

Мальчик смотрел на Полячку добрым и кротким взглядом настрадавшегося человека, он видел блестящий предмет, водруженный на плиту, и пламя, пыхнувшее в печи.

Воск медленно оседал и таял, растекаясь по дну, и скоро растаял в желтое озерцо.

Полячка выставила мензурку на пол.

— Как звать мальчика?

— Сережа.

Полячка ладонью осенила мензурку и сказала:

— Сергей, умереть тебе или жить, яви правду,— и ладонь держала над мензуркой.

Воск холодел и прорисовывал очертания оврагов, мелких долин и урочищ.

Лицо Полячки необыкновенно прояснилось.

— Мальчик Серенька,— сказала она спокойно и сразу сняла напряжение,— будет не просто жить в этом зачумленном городе, отречемся от трав. Мальчик станет знаменитым человеком, причем в ранние годы...

У матери просеклась слеза. Ей было безразлично, каким человеком — знаменитым или безвестным — станет ее мальчик. Был бы он жив и здоров — единственная ее мечта, и потом — пусть нескоро — показать его отцу. Чтобы отец внял — она правильно сделала, тайно пробравшись к нему под Туруханск. Нет, не одна мечта, две мечты — пусть мальчик будет жив и пусть отец увидит сына.

— Покормите Сережу,— сказала Полячка,— я принесу молока, сделайте тюрю и покормите. Вам далеко идти?

— На Шатковскую.

— Прекрасная улица. Когда-то на Шатковской моя матушка все недуги исцелила травами, а теперь и Шатковская свихнулась с пути истинного... А условия мои, Гутя, просты...

Мать подивилась — откуда и как Полячка знает ее имя. Полячка снова посмотрела в ее глаза:

— Имя принесли твои заказчицы... Да-а, условия просты. Как можно больше свежей растительной пищи, парное молоко. И мои процедуры выполняйте строго. Стоит вам разок...у-у, короед какой будет славный! — Она пощекотала мальчика, тот отозвался чистым, как колокольчик, смехом. — Стоит разок сплеховать, не исполнить мои начертания,

и тогда никто не поможет вам, даже Бог. Впрочем, вы неверующая, как большинство в Урийске... А где вы работаете?

Мать ужаснулась вопросу, заданному вторично. В своем ли уме Полячка? Но та читала ее мысли.

— Ах, я ведь спрашивала вас, — сказала Полячка, но это нисколько не успокоило мать, потому что имя «Гутя» — если верить Полячке — принесли ей заказчицы, значит, Полячка уже дважды знала, где и кем работает мать. Но Полячка и это прочитала и сказала:

— Мысль моя западает. Я не то хотела спросить. Разрешают ли вам шить на дому?

— Да ведь Сережа все время болеет, а бабенька не с нами живет, в Сваринске. А отец-то...

— Так вам, урийцам, и надо, — засмеялась Полячка. — Так вам и надо. Бабеньки и отцы живут не с нами, и мы живем не с ними, подумайте только, сколько нового напридумывали, семьи разорваны, а простые хворости одолеть не можем.

Она прошла по горенке и достала с полки пучок сухой черной травы, помяла стебель, понюхала пальцы.

— Ах, — сказала, — что за божественные запахи. На моей родине, под Краковом, единственное место, где растет это чудо. Понюхайте, голубушка.

Мать понюхала. Пахло не то розой, не то валерианой.

— Пошлите мужу, — велела Полячка. — Пусть пьет отвар по глотку в день, перед сном. Это поможет ему сохранить веру и память о доме. Не удивляйтесь, многие травы обладают свойством душе облегчение давать... А шьете на дому — это и к лучшему. Пойдемте-ка на огород, пойдемте...

Они прошли на огород, где каждая гряда выглядела ухоженной, посредине огорода стоял белокрашенный стол и скамейки, а вокруг стола и скамеек росли хризантемы, крупные и яркие.

— В горзеленхозе, — сказала Полячка, — занимаются массовой селекцией цветов. А я выращиваю для себя и для гостей. Сейчас я срежу вам три хризантемы, — она достала из нагрудного кармана ножнички и срезала три высоких стебля. — Сравните мои и горзеленхозовские!.. Так и вы, не сомневайтесь, шьете хорошие платья. Когда-нибудь я закажу вам платье, и мы будем в расчете...

Мать заметила, что день на ущербе, а идти далеко.

— Сейчас я отпущу вас, — сказала Полячка, — только притисну Сереньку. Сиреневый Серенька, зеленый мой листочек, ну-ка иди ко мне, ну-ка, ну-ка...

Мать подумала, не обломила бы головка у сына, так тонок стебелек шеи и так слаб, но сын ее загукнул на руках у Полячки и головку держал крепко. Всю дорогу до дому, прижимая сына и хризантемы к груди, мать счастливо вздыхала и думала: «Покажу тебя, Сереня, отцу, и тогда мы заживем как все добрые люди».

Снадобья, приготовленные Полячкой, были просты — мать купала сына ежевечерне в теплом настое ели и козьей ивы, а после ванн смазывала раны густой ноздреватой мазью с терпким запахом незнамого растения, барбариса или дымянки, предположила Софья Гавриловна. Раны стали затягиваться и подсыхать, ладошки покрупнели, даже лицо растолстело. Мать однажды подумала: «Что это, неужто глаза заплыли у сиреневого Сереньки?» А, оказывается, личико Сереньки растолстело, и глаза в нем чуть утонули.

Мальчик полюбил целебные ванны, мать купила ему деревянную уточку, он пускал ее в воде и разговаривал с уточкой на тарабарском языке, и ранее не дававшиеся слова вдруг стал произносить разом, одно за другим, но с надставкой «утя»: «утя-Соня», «утя-дождик», «утя-солнце»...

Мать писала отцу восторженные письма, читала редкие ответы. Мальчик не понимал взрослый язык неведомого отца, но сказал внятно однажды:

— Утя-папа, — мать затискала его.

Прошел еще год, мать освободилась от всех страхов, пела девичьи песни. Вдруг ее вызвали в детскую консультацию на контрольный осмотр, она пошла неохотно. В консультации все были удивлены видом выздоровевшего Сереньки; бежали из кабинета в кабинет, собрались белохалатной толпой у Фаинфельда, роковавшего басом, трогали Сереньку за руку и плечо.

— Уникальный случай, дорогие коллеги. Костный туберкулез в столь раннем возрасте не поддается лечению, — мать презрительно слушала поставленный голос.

Но тайны исцеления не выдала, лишь сказала, что применяла хвойные ванны, но то было правдой наполовину, и Фаинфельд что-то записал у себя в журнале.

Мать все ждала — вот Полячка принесет ей отрез, и она сошьет для нее платье, приталенное и строгое, такое и пристало носить волшебной пани. Но Полячка не показывалась на Шатковской.

Прошел еще год. Серенька уже летал в соседние дворы, повадился поллитровой банкой пить козье молоко у Софьи и есть печеные сладости у соседей Савруевых, сам Савруев служил в райземотделе, крупчатка у него всегда была.

Мать как-то набралась смелости, выпросила у Савруевых туес муки, закатала тесто, напекла всякой всячины, уложила в корзину и поставила бутылек черемухового вина, приготовленного Софьей Гавриловной, взяла за руку Сереньку, и они пошли через весь город в гости к Полячке.

Серенька в дороге ничуть не устал, он знал, что они идут к той женщине, чей лик чуть потускнел в его памяти, но светлые ее глаза и мягкие руки ее он не забыл, и та женщина исцелила его.

Полячка встретила их как родных, ввела в горницу, мать достала припасы и вино. Полячка рассмеялась:

— Лекарственные настоечки принимаете? — и нюхнула. — Ай, какая прелесть. Нет, еще жива улица Шатковская, еще теплится дымок над ее трубами.

— Я ждала вас все время, — сказала мать. — Я пересмотрела старинные выкройки и журналы мод и выбрала для вас лучшее, спрятала за зеркало. Думаю, придет спасительница, я сниму примерку и сошью... Я всю жизнь шила бы для вас бесплатно...

Полячка подняла на колени Сереньку, обняла его и губами прижалась к толстым пальчикам, на них остались едва заметные шрамы:

— Мальчик мой, радость моя.

Мать залюбовалась, глядя на них. Полячка была гладко причесана и в темно-зеленом узком халате с крупными деревянными пуговицами. Полы долгого халата не разошлись, когда она села, и узко обняли ее крупные бедра. Розовощекий Серенька в белой рубашке выглядел светлой бабочкой на зеленом поле; мать засмотрелась на них.

— Через мои руки прошло сто мальчиков и сто девочек, — сказала Полячка, поглаживая хохолок на Серенькиной макушке, — а умер лишь один. Я подняла бы и его, но мать боялась ко мне идти, а когда кинулась, было поздно. Смерть этого мальчика приписали мне...

— Я, Гутя, ходила по снегу босиком три года, — застенчиво призналась она, — правда, не у Полярного круга, а поближе, под Тайшетом. Меня спасли травы, в Сибири есть удивительные травы.

— Я бы всю жизнь шила на вас бесплатно! — воскликнула мать.

— Да вы, Гутя, расплатились со мной сполна, — сказала Полячка. — Выпьем еще по рюмочке. Чудесное вино, и цвет янтарный, и вкус горьковатый... — Да, да, расплатились, и с лихвой! После той печальной истории с мальчиком болезни не утихли в городе, и появилось много душевно больных и испуганных. Растет число самоубийц. Раньше самоубийство было редкостью. Я лечу испуги и успокаиваю души, но после той истории, п о с л е Т а й ш е т а, ко мне никто уже не приходил, даже с дальних улиц. Боялись властей. А тут ты с Серенькой явилась, а я в грязь лицом не ударила...

Мать улыбнулась ответно.

— К тебе, Гутя, идут заказчицы, а ты рассказываешь — врачи приговорили Сереньку, а Полячка подняла его. Рассказываешь?

— И сейчас рассказываю, и буду всю жизнь рассказывать.

— Ну, на устном слове нас тоже можно словить, — непонятно сказала Полячка. — И плотину прорвало. С болячками и хворостами идут один за другим. Вот ревмя ревет девочка, ей уколы, уколы, а у нее, родименькой, обыкновенная щетинка на спине, выкатать не умеют теплым тестом... И простые идут, и партийные... Ой, чуть не забыла, врачи крадучись приходили, спрашивали, как предупредить коклюш... Да, и все



норовят визит ко мне сохранить в секрете, таинственное время наступило... Так что расплатилась ты со мною наперед. Слово белошвей пошло золотом вдоль Шатковской и за пределы ее.

Так началась судьба мальчика по имени Серенька, и пока он не потеряет родовое имя, затмить в памяти его Полячку никто не сможет — ни бабенка-вещунья, ни отец, внезапно свалившийся домой. Но отныне тайна рождения Сереньки стала двойной, ибо можно считать, что он родился дважды.

А мать, не отрывая памяти о муже и укрепив ее сыном, все размышляла, все думала о том, счастлива ли в этой окаянной жизни Полячка. В высоком доме на обрыве, посреди огорода, у кухонной плиты счастлива ли она или прикидывается счастливой? Страждущие снова пошли цепочкой к ее калитке — довольно ли этого для счастья?... оставив дом травницы, мать не умела забыть глаза травницы лучистые, речь ее быструю, подхватистую, радушие сердечное, расцветший огород, чистые некрашенные поля в горнице; и терпкий запах одиночества, настоящий на шиповнике или бадане — не уловить, забыть не могла.

Много ли надо человеку для полноты счастья? Полячка... Где родители ее? Где муж ее или любимый? Где дети ее? Где она сама пребывает, наблюдая с обрыва долину Умары? А может быть, она собирает в сундуке деньги, червонец к червонцу, и это стало ее услугой? Нет, деньги не есть счастье Полячки... О, она думает облегчить страдания людские, вот ее радость. Но зачем она осчастливила мать и Сереньку, неужто для того, чтобы они, освободившись от недугов, еще больше затосковали возле швейной машинки «Зингер» по любимому, по отцу?.. Нет, счастье без любимого, счастье без отца — обман, а не счастье или даже злосчастье. Ванечка, где ты, родимый? Пьешь ли по глоточку отвар и, если пьешь, почему давно не пиешь? Уже война захлестнула дальний угол родины, уже агроном Савруев отпросился на фронт, и внезапно притихли вечерние голоса в Есауловом саду, — а где ты, Ванечка?..

«Я, Гутя, всю бумагу извел, посылая прошения в Москву, — отпусти-те и меня на ту полосу, где умереть легче, но и жить легче. Потому пишу вам редко, что живу ожиданием перемен. Ожидание приподняло меня над землей. Пятеро из нашего барака выпросились, и всем разрешили побывку перед той полосой», — мать выплакалась в подушку, получив эту весть.

Ей обещано последнее свидание с любимым. А не дадут свидания, как тогда жить? Сереньку баюкать и растить, оберегать от шалостей и тихо горбиться у швейной машины... Выходит, последнее свидание с любимым — тоже счастье, пусть беспросветное, но счастье. Скрадываясь от сына, мать стала молиться, неумело осеняя себя знамением под иконой святой Богородицы, икону подарила бабенка. Два подарка бабенки прописались в их доме — машина «Зингер» и икона.

Следом за Савруевым-отцом ушел и сын его старший и быстро сго-

рел, в одну зиму, опередив отца, и пришел черед младшего Савруева, Петеньки златокудрого.

Но эшелон уполз на запад, а в эшелоне златокудрый Петенька, — явился незнакомый человек, обжегал двор вокруг, потягивая носом запахи июня сорок второго года, ткнулся в ворота, а в воротах мальчик русоволосый. Бесенята взыграли в бедовых глазах незнакомца:

— Ты чей, мальчик?

— Мамин.

— Ясно, мамин. А еще чей?

— Тетин Гутин.

Незнакомец схватил мальчика на руки, голову стриженую уткнул в рубашонку и спрятался от мира на миру. Серенька заорал благим матом, мать выскочила на крыльцо — незнакомый мужчина обнял ее мальчика и, притиснув, не отпускает, лица не выказывает. Мать кинулась освободить сына, но силенки у нее не хватило разжать клешни незнакомца, но лицо он отнял — мать опустила на колени, обняв сапоги незнакомца. В виски ударило — вот оно, последнее свидание с любимым, с отцом. Господи, куда ему идти на фронт — кожа да кости, глаза, поблекшие в полярной ночи, сутулая спина и впалый живот (брюки на веревочке).

— Серенька, то папа твой.

Серенька навзрыд заплакал. Ему не хотелось, чтобы этот страшный человек был его отцом. Мать тоже заревела, но опомнилась — Сереньке отец не глянулся, но она клялась себе, что сына покажет отцу; и она сказала:

— Смотри, Ванечка, наш мальчик. У него русский хохолок на макушке точь-в-точь твой. Смотри, у него твои карие глаза. Смотри, шрамики на пальцах, приговорили врачи, а я выходила Сереньку... Ой, Ванечка, а что это у тебя с рукой, где твой-то пальчик указательный?

— Отморозил, — сказал отец.

— И ты — воевать?

— На левой руке не в счет, и всего один палец. Гутя, мне на побывку дали...

— Молчи, молчи...

Ему дали на побывку три дня.

Первые часы были суматошные. Мать накормила отца с гряды редисом и огурцами, молодым чесноком и укропом.

Серенька наблюдал, как отец — незнакомый мужчина — примеряется то к лопате и граблям, то к топору, но тут же бросает все, садится на крыльцо, смотрит в огороды, и в груди у него хрипит.

Постучалась Софья Гавриловна, присела на табурет, тоже молчала и, уже обратно переступая порог, сказала:

— Ты там моего не встречал? — и поняла нелепость своего вопроса, ушла.

Сереньку уложили рано спать, в полночь он проснулся, услышав шепот. Говорил отец:

— Знаешь ли, Гутя, сколько прекрасных людей довелось мне пови-  
дать за семь лет, и почти все теряют веру, это самое страшное, что мож-  
но представить...

— Полячка возвращает веру, Ваня.

— О-ёй, завидую Полячке.

— Ванечка, она говорит то же, что и ты, но она врачует недуги, зна-  
чит, сама она верит и другим передает веру. Вот и ты верь...

— Да во что, Гутя, верить?

— Да хоть в меня, я стойкая женщина, и в Сереньку верь, ему судь-  
ба выпала завидная.

Отец что-то сказал, мать счастливо ойкнула, и снова шел шепот. Се-  
ренька провалился в сон.

Утром Серенька хотел встать раньше всех, но проспал. Отец пере-  
бирал прясло и пел при этом, отцу помогал Игнат.

Серенька выскочил на крыльцо, отец бросил топор, кинулся к сыну,  
посадил на загорбок и крикнул мать.

— Игнат, без меня справишься? Или оставь до обеда, мы пройдем-  
ся по городу, мы быстро.

Серенька верхом выехал на Шатковскую, верхом плыл по Инже-  
нерной.

Мать купила входные билеты в Есаулов сад и там еще раз купила  
билеты в загородку, на качели. Отец велел матери сесть в лодке, а Се-  
реньку поставил на корму, сам встал напротив, они поднимались до вер-  
шин берез и опадали, у Сереньки под ложечкой холодело.

Они добрались до рынка, отец взял три чеплашки морса. Морс исхо-  
дил пузырьками и бил в нос, Серенька чихнул, но морс допил. Отец,  
смакуя удовольствие, вытер ладонью Серенькины губы.

— Видишь, как много на земле счастья, а ты не верил...

Отец, притупив взор, молчал.

— Я бы сводила тебя к Полячке, но ты побоишься узнать рисунок  
судьбы.

— Не надо, Гутя, Полячка не обманет меня.

— Ох, Ванечка, не настраивай себя к гибели.

— Что ты, что ты, Гутя, я хочу жить и надеюсь выжить, но посмо-  
три, на улицах совсем нет мужчин. Куда подевались мужчины?

— Ванечка, я куплю тебе эту рубашку, посмотри, она легкая и  
светлая.

— Гутя, зачем мне рубашка, я в этой до места доберусь.

— Нет, я куплю рубашку. Да ты не бойся, я скопила рубашек.

— Ну, купи.

Они прошли на зады полупустой барахолки, мать велела немедлен-  
но надеть рубашку. Отец не сопротивлялся, снял заношенную рубаху  
и надел льняную. Мать застегнула перламутровые пуговицы, припала

к отцу, и так, на виду всей барахолки, стояла минуту. Серенька затосковал, у него предательски щипало глаза.

Мать вдруг сказала:

— Ванечка, я совсем забыла, ты ведь хочешь выпить?

— Нет, я не хочу выпить, — отвечал, улыбаясь, отец.

— Ну, ты не хочешь, так я хочу, — с вызовом сказала мать. — Сейчас мы зайдем в летний павильон, девочки дадут нам по стакану вермута. Он слабенький, не бойся.

Они зашли в летний павильон, это была открытая веранда с маленькими столиками и венскими стульями. Ветер шевелил бумажные шторы. Мать выбрала столик с видом на запущенную аллею городского сада и усадила мужчин.

— Боже, как в раю, — сказал отец. — Никакой тебе войны, и Туруханска будто бы и нет на свете.

К ним подошла официантка в белом кружевном переднике и в кружевной шапочке.

— Девушка, принесите нам вина и что-нибудь поесть. Он голодный, как волк, — мать показала на отца.

— Ну, Гутя, это ж неправда, я сыт...

— Молчи, ты голодный.

— У нас только жареная горбуша, — сказала официантка.

— Господи, — прошептал отец, — т о л ь к о горбуша жареная. Семья в раю.

Официантка ушла, мать поднялась следом.

— Гутя, сиди, — робко сказал отец.

— Я сейчас.

Мать пошептала со знакомой буфетчицей — «он пришел и уходит» — и та подала ей три тонких фужера и пачку «Дуката».

— Мы будем пить вино из фужеров, а ты будешь курить «Дукат»...

Серенька увидел, как глаза отцовы повлажнели.

Мать плеснула Сереньке одну каплю:

— Для аппетита, а нам налей по половине.

Отец неловко взял граненый графин и неловко налил в фужеры вино, явно обделив себя. Мать взяла из его рук графин и долила.

— Гутя, — виновато сказал отец, — я отвык от этой посуды и вообще...

Мать погладила ему руку, они помолчали.

Серенька уже признал в отце отца, но все еще смотрел в стриженое его лицо с недоумением. Он чувствовал — за спиной стоит беда и бесшумно машет темным крылом. Он оглянулся — в сквозных проемах летнего павильона березы и дубы шелестели листвою, а вдали дворник, похожий на толстого снегиря, мел аллею.

— Я тебя никогда не забуду, ты меня никогда не забудь, — сказала мать, все еще держа руку свою на руке отца. — Сережа, пригуби.

Мать и отец наблюдали, как крохотный их сын пригубил пустой фужер, и, держась за руки и глядя друг другу в глаза, выпили вино.

Отец вздохнул полной грудью и быстро сказал, скороговоркой:

— Не вздумай долго вдовствовать.

— После тебя, Ванечка, останется он, и никого в мире, запомни, милый. Ты здесь, Ванечка, прикоснулся ко мне впервые, на танцах,— мать показала на аллею.

— Ага, объявили танго... Эх, забыл, как же оно называлось.

— «Брызги шампанского»...

— Во, эпоха индустриализации, сплошные воскресники, голодуха, на «Автозапчасти» аврал за авралом — и «Брызги шампанского»...

Мать засмеялась. Вино раскрепостило ее, она рассмеялась, как девчонка:

— А и правда странно. Красные воскресники под аргентинское танго...

— Это Урийск,— сказал отец, полузакрыв глаза,— это наш удивительный город. Мы детьми, помнишь, помогали взрослым садить дубки и березы, но эти мелодии уже ворвались в Урийск. Все аресты в нашем городе шли под эти мелодии.

— Ты не ошибся во мне, Ванечка,— сказала мать.— И у нас вырастет сын, запомни, он будет таким же чистым, как и его отец...

Они поднялись.

— Ого,— сказал отец,— придется тебе, Сереня, самому топать, а я хотел прокатить еще тебя... Нет, вы посмотрите на добровольца, доброволец окосел с одного стакана вина...

Отец чуть качнулся. Мать взяла отца под руку и потерлась носом о его плечо.

— Ванечка, я часто припоминала запах твоих рук, и сейчас прорвалось,— она прижалась к его плечу и постояла так долю минуты.

На пороге их догнала буфетчица и сунула матери сверток:

— Возьми, Гутя, это от меня.

И день второй погас. Серенька снова дал слово проснуться раньше всех, перелезть в постель к матери и отцу, и снова проспал. Он очнулся, когда услышал:

— Серенька! Мальчик Серенька, выгляни в оконце! Папа подарок тебе привез.

Серенька открыл глаза — комната залита голубым утренним светом, по лоскутному одеялу гуляют веселые лучи солнца. Серенька потянулся со сна и снова услышал:

— Да выгляни же в окно, сын!

Серенька встал на тряпичный коврик, приподнял марлевую занавеску и увидел приплюснутый к оконному стеклу нос отца. Отец смотрит на Сереньку молча, худое лицо его расплывается в улыбке.

— Смотри, сын, из лесу принес,— отец показывает на большой ствол, будто измазанный белилами.

— Вишь,— говорит отец,— готовым деревом посадил. Ухаживай. Береза ласку любит.

Вечером отца повезли на Запад. Он был грустен, отец, но держался бодро. Он гладил по плечу мать. Когда вокзальные склянки пропели отправление, он больно прижал Сереньку к груди. Громогласный старшина объявил прощание законченным, двери теплушки заперли. Отец попытался пробиться к окну, но сумел высунуть только руку с ущемленным пальцем. Серенька узнал руку отца. Состав дернулся и повез руку отца. Мать — странно — не плакала. Но лучше бы она плакала, Сереньке было бы легче.

И на пустом перроне Серенька понял — месяц ясный канул. Может быть, он есть где-то далеко-далеко, отец, но во двор он никогда не придет и в окно не постучит. Да, это так, в окно он никогда не постучит.

А взрослая береза осталась. По березе Серенька представляет отца и разговаривает с ним.

— Земля у нас больно худая, один песок. Не приживется дерево, папа.

И отец — то есть береза — отвечает:

— Не бойсь, укоренимся, выживем.

О разговорах с отцом Серенька не рассказывает матери, боится расстроить.

Перед сном, в летние дни, Серенька берет цинковые ведра и бежит к железной дороге. Там, на запасных путях, пропахших мазутом, стоит цистерна с водой. Серенька несет домой полные ведра, капли не уронит. И медленно, чтобы почва успевала проглатывать воду, выливает к самому комлю ведра и снова бежит на запасные пути. В засуху березу не насытишь — пьет и пьет.

Но прав был отец: береза потеряла листву на нижних ветках, а потом окрепла в гнезде, достав крышу, пошла вширь и к осени на второй год, после ухода отца, стала похожа на осанистую тетю Марфу, так звали жену Титаника.

1979

## ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ В УРИЙСКЕ

Аля потихоньку открыла дверь и вошла.

— Садитесь, садитесь,— мягко, но густо долетало до нее, но она не могла пошевелинуться.

Тогда он быстро встал, взял ее за руку, провел к столу и почти силком усадил.

— Итак, Аля, вот вам и двадцать восемь. Грустно?

Аля молчала, чувствуя, что оцепенение проходит. Она поняла это по тому, что вдруг увидела секретаря горкома, его лысину и скорбную складку у рта. Лицо у него было истомленное, и ей стало понятно, что и он, комсомольский секретарь, не первой молодости, а поди ж ты, сидит на комсомоле.

— Ваше заявление слушали, — ровно говорил он, — конечно, удовлетворили. Но вы напрасно не указали, хотите ли у себя оставить комсомольский билет. А на фотографии в учетной вы совсем другая, будто бы и не вы...

— Да я там девочкой снята, глупой и наивной. Я тогда, если правду сказать вам...

— А возьмите да и скажите.

— Я тогда совершенно серьезно считала, что комсомол — это организация избранных. Самых честных, добрых, самых храбрых, ну, даже бесбашных. А потом...

— А потом оказалось, что мы обыкновенная, рутинная организация, да? Мы пишем много бумаг, много говорим, а еще больше слушаем скучнейшие наставления перестраховщиков — потому, наверное, скучно и юному поколению. — Улыбка тронула его губы, и лицо его стало мальчишеским.

Она медленно возвращалась в нарсуд, где работала секретарем. Мир оставался миром, но она не хотела этой праздничной пестроты, потому что с выложенным на горкомовское сукно билетом осталась молодость на чужом столе.

Ее привел в себя окрик судьи Неупокоева, она замешкалась с бумагой; Аля радостно ощутила, что нет, кажется, она еще не совсем старуха, и ответила с достоинством:

— Не шумите, Вениамин Анатольевич. Вот уже день как я вышла из комсомольского возраста, — и строго повела плечом.

Неупокоев опешил, потом, ломая руки, трагически вскричал:

— О, Алевтина Ивановна! Простите великодушно за содеянную грубость! Очерствел, изгадился в премерзостных делах.

Аля рассмеялась. Неупокоев был все-таки хорошим мужиком, иногда немилосердным, но немилосердным с закоренелыми бандитами...

Вспоминались мать и смутно брат, погибший в Маньчжурии летом сорок пятого. Вспомнился секретарь горкома. Женат ли он? И отчего так рано полысел? И как он жил раньше, до кабинета? Знал ли высокое горение? Строил ли новые города или плотины?.. Как билась она на последнем школьном сборище, но уговорила только двоих, чистюли провалили дело: «После института пожалуйста — хоть сто Тюменей»... Она и сейчас презрительно думала о чистюлях и тосковала по облюбованной, мало обихоженной земле, хотя недавно прокололо: да и здесь надо обживать улицы и дома, ходить на погост к маме, творить любовь и ждать любви, ах, программа вполне смиренная, но женщине под тридцать и положено быть смиренной...

Еще через день пришло субботнее утро, солнечное, просторное, с звонким криком петуха на мокром от ночной росы заплоте, — а вставать не хотелось. Проснулась слишком рано, — подумала Аля, — но для каких дел? Для каких забот?

Напрягшись, она встряхнулась и неожиданно подумала о том, что нужно бы отнести в починку туфли. Она ухватила за эту спасительную мысль и стала думать подробнее: а почему не отдать туфли Настеньке? Настенька продаст их, и будет на рюмочку — Настенька страдает горькой. Единственный сын, хулиганистый Антошка Кубиков (Настенька звала сына по фамилии оставившего ее мужа) убежал в Казахстан и через полгода женился на комбайнерше. Комбайнерша написала Настеньке ознакомительное письмо: «Мамаша, мы с Антоном влюблены взаимно и трудимся в общих целях». Настенька ответствовала сыну и невестке грозными словами: матери не поклонившись, дитя зародите худое и болезное, — они замолчали и молчат второй год.

Коридор у Настеньки и Али общий. Аля часто слышит, как Настенька подходит к двери и угадывает, встала ли она.

— Аленька, — запевно начинает Настенька, — опять я тоскую, кружу по комнате и тоскую, а он, родименький, молчит, хоть бы строчку черкнул. И все она его подбивает, сутенерка, — говорит Настенька чужим словом, садится на стул, тяжело переламываясь в поясе, — старею, говорит, — и широко, по-мужски, ставя ноги.

— По тону, чую я, это она все! — и вслух читает зачитанное письмо, но тут же смиряется: — А может быть, он в такой стороне, что и письма не хотят идти. Великая страна казахская...

Мягкий солнечный свет омывал комнату, а вставать не хотелось все равно. «Зачем Настеньке туфли? Лучше-ка я возьму у нее Антонов адрес и умолю вспомнить мать, пока она жива, да, пока жива».

Потом ясно представилось, что нынче суббота и нужно торопиться отдыхать. Аля потянулась рукой, отбросила легкую штору с окна, глянула на улицу.

Под окнами торопился люд, видно было, иные — куда глаза глядят, другие иступленно шагая к делам. Вдруг выплыл отставной, но все равно величественный майор Титаник и прошествовал, сохраняя ритуальную статью и походку. Титаника знал весь Урийск потому, что в подпитии майор возымел привычку следовать по улицам города строевым шагом, возможно, в нынешней армии он был не оригинален, но я не могу говорить за всю армию; а для моей героини Титаник был точно существом удивительным. Но сейчас стояло летнее росное утро, и Титаник был трезв как стеклышко. Из-за угла с визгом и ревом проехал грузовик — колхозники привезли на рынок поросят. А из чайной выбрела ранняя компания, все в косоворотках, подвязанных тесьмой. Гитарный переплеск вошел в окно. Переселенцы гуляют, поняла она, хохлы. Боже, как живописен глава рода, выставляет товар — сыновей — лицом. А те-то, те... Как красивы их рубахи, как сильны их руки, и что за чуд-



ные лица у них, грубые и бронзовые от загара, но нецелованные еще... А вон повезли гэдэровский гарнитур, сыскался богач или раскошелился Маленький портной, молва приписывала Маленькому портному невиданное богатство, Аля верила молве.

И над всем осмысленным, деловым, беспечальным, что бежало, шло и катилось по широкой урийской улице, висел слегка притухший шар солнца.

Аля распахнула окно настежь, вслушиваясь в утренние голоса. Ей припомнилось, сначала бессвязно и сбивчиво, а потом все увереннее, что там, где она когда-то бегала в школу, в узком проулке, пронизанном нитями солнца, сидели три китайца, сапожники. Они тогда понравились ей. С нею такое случилось: то не понравятся, то тихо полюбятся неизвестно за что люди. Китайцы работали в деревянной будочке — стены ее пестрели видами Пекина и Шанхая. Одна стена была облеплена цветными открытками — сирень и хризантемы цвели под крышами пагод. Однажды Аля хотела спросить: «Не Харбин ли это?» — там лежал в братской могиле ее старший, ее единственный брат, солдат пехоты.

Но какие-то хозяйственники отобрали будку у китайцев, китайцы исчезли. По Урийску прополз диковатый слух: китайцы — вовсе не сапожники, а профессиональные шпионы. Что они могли вышпионить в глухом провинциальном городе, оставалось тайной, но некие силы эту тайну умело подогревали. Скоро открылось, что урийская котельная сгорела (на всю Россию то была единственная котельная, которая сгорела) не просто так, и Кеха-американец, — сомнительный сам по себе, одним прозвищем своим, — был в подозрительном сговоре с китайцами. Потом... потом вдруг не уродили пасеки. Пчелы летали, носили взятки, а меду не было. В пасмурное лето такое случалось и раньше. Но то было раньше, в годы великой дружбы с Китаем. А тут — тут все перевернулось. Жить в Урийске стало не скучно, как и во времена БАМлага. Прежний страх истаял, но озноб появился.

Всех потрясла история с левой ногой старой большевички Гулевой-ной. По секрету будь сказано, никакой большевичкой Гулеванная никогда не была, а служила корпусной дежурной в пересыльной тюрьме, по льготе ушла на раннюю пенсию, прошло пять лет, надела ордена (им там всем ордена давали за жестокость — кому Красной Звезды, кому Красного Знамени; Гулевой-ной же дали Отечественной, первой степени, и Славы, третьей, к фронтовикам приравняли). А еще погода партстаж ее был объявлен большевистским. Чудеса эти могли происходить только в Урийске, но вернемся к китайцам. Левая ступня орденоносной большевички Гулевой-ной самым неожиданным образом сработала на шпионско-диверсионную версию. Боли в ступне, легкая хромота, посиновение — никто понять не может, что с ногой. Гулеванную повезли в область, и диагноз онкологов подтвердился, — Господи, прости мою душу грешную, но Божья кара есть, — у Гулевой-ной рак ступни. Отторкали большевичку домой. Гулеванная задумалась и посмотрела вдаль, как

смотрела она, волчица, из-за зарешеченного окна тюремного коридора в долину реки Пера; на узком, поросшем рыжей щетиной лбу вздулись вены, скоро она вскрикнула, упала в обморок, ее откачали. Она силилась что-то сказать, но — грозный Судия есть! — отнялась речь у большевички. По немотным стонам, по мановению руки догадались все же, что она требует найти старые туфли. Туфли нашли, протерли сырой тряпкой, подали Гулевой, она обнюхала их и промычала:

— Ы-ы! — родные и близкие разгадывали указание, наконец, сын ее, тоже охранник Урийской тюрьмы (династия Гулеванных!), понял, взял стамеску и вскрыл подошву, в туфле оказалась металлическая пластина.

Ввиду чрезвычайности происходящего волчий выводок забыл, что в любом сапоге ли, ботинке, туфле всегда, во избежание плоскостопия, вставляется стальная пластина. Тут же Гулеванные враз возопили, а глава династии всяа охранников России, сделав свирепое лицо, неожиданно сказала, овладев языком:

— Китайцы! — сказала она и откинулась на подушки.

И родные вспомнили, что Гулеванная всегда отдавала китайцам туфли в ремонт (Э! Туфли! Сорок второго размера бахилы).

Дальше... Дальше все просто. Сын большевички отнес супинаторы (металлические пластины) в местное патриотическое ведомство, там его сдержанно благодарили, металлические пластины отправили в Благовещенск, на улицу Павлика Морозова, и далее, в Москву, на Лубянку. Искомое подтвердилось — супинаторы несли в себе радиоактивные изотопы...

Веселый город — Урийск. Аля правильно сделала, что не поехала осваивать Тюмень, не соблазнилась оргнабором на Сахалин, а осталась дома.

Ко всему прочему оказалось, что Егор Алексеевич Бабылко, местный Константин Ушинский и поэт-сатирик, принародно бравший у сапожников уроки китайской устной речи, находится под негласным надзором с тех пор, как на педсовете заявил, что косоватые глаза детей урийских аборигенов не есть повод заподозрить родителей в слишком тесном общении с азиатами. Именно тогда Алю прострелило: ведь и она, Аля, узкоглаза.

Человек независимый, по-своему отозвался Маленький портной. Он стал шить кимоно и долгополые платья с хризантемовой расцветкой, кимоно и платья пошли нарасхват, женщины демонстрировали протест немymi прокитайскими симпатиями, — Маленького портного тотчас объявили космополитом, обложили двойным налогом, и вообще с этого момента началась нескончаемая опала Маленького портного.

Венцом всего в Урийске явилась партконференция, на которой первый секретарь горкома сообщил, что проведенным расследованием установлено: фамилия одного из трех китайцев не Винь Бао, а — Виньбаум. И ситуация в городе необычайно обострилась, потекли шепотки по за-

дворкам и усадьбам. Горком ответил решительно — была создана идеологическая комиссия, призванная изучать и формировать общественное мнение и анализировать обстановку. Комиссия разделилась на три секции. Одна секция организовывала и собирала информацию, в том числе агентурную, вторая секция как бы предвосхищала будущую борьбу за изобилие, ибо называлась — Накопления, а третью секцию нарекли — Анализа и руководящих указаний. В горкоме долго думали и поручили редакторше «Умарских огней» Калине Воротниковой собирать все данные по городу и передавать для анализа молодому и энергичному Петюне Квасникову, начальнику патриотического ведомства. Петюня зажил совсем хорошо. Ранее урийцы стеснялись доносить друг на друга. Теперь же дело доносительства, сбора информации и передачи компрометирующих материалов взяла на себя общественность Урийска во главе с прогрессивной Калиной Воротниковой. Службистам патриотического ведомства оставалось только писать досье, оприходуя новые факты непредсказуемого поведения урийцев. Так во всей первозданной красе появился на страницах доноса знакомый нам Егор Алексеевич Бабылко. Что он мог, воинствующий атеист, натворить в безбожном городе? Оказалось, мог. Взяв на рынке плошку пива и намеренно долго одолевая ее, Бабылко сказал глубококомысленно вслух:

— Глаза! Есть разница в разрезе глаз у Винь Бао и у Виньбаума, а? — на что бдительные сопивцы отвечали Бабылке, что Виньбаум все годы прищуривался.

Петюня Квасников, получив столь тревожную информацию из рук Калины Воротниковой, приказал опричникам немедленно профилировать негодяя. Старого учителя схватили прямо на улице, привезли в черной «Волге» в особняк УКГБ и проникновенно беседовали восемнадцать часов подряд, затем взяли подписку о неразглашении беседы. С тех пор Бабылко молчал даже на уроках словесности.

Неожиданным следствием всех этих невероятных и тем не менее совершенно реальных перипетий было то, что урийцы стали п л я т ь глаза, выпучивать, демонстрируя постоянно свою далекость и природную чуждость Поднебесной империи. Вообще у Али было иногда ощущение, что город идет ко дну, как тот знаменитый пароход «Титаник», протараненный невидимым айсбергом, и никто не способен понять в дурацкой суматохе, что происходит. Ополоумев, все бегает по палубам и каютам, и только отставной майор, возомнивший себя трансатлантическим лайнером, приняв дозу спиртного, меряет улицы державным прусским шагом...

Прошел, однако, срок, страсти улеглись, глаза милых моих урийцев в о ш л и в б е р е г а. И однажды китайцы-сапожники появились в городе снова. Где они пропадали, в каких местах отдаленных, какому пахану подбивали золотыми гвоздями туфли — покрыто туманом.

Но весь город потянулся лицезреть Виньбаума, и многие действительно находили странноватой горбинку его тонкой лепки носа и сом-

нительными колечки черных волос на затылке (за годы высылки Винь Бао полысел), да и глаза — глаза казались чересчур широкими. Коренные же урийские сапожники сердились: мастера-китайцы отнимали у них клиентов; в бескровной, слава Богу, войне больше всего выигрывали женщины.

Сейчас, припомнив китайцев, Аля взяла зеркальце, всмотрелась в лицо с легкой раскосинкой.

— Я не пила еще за хризантемы,  
Что у плетня восточного желтеют,—

пропела она втихомолку, чтобы никто не заметил, как она коснулась бедра знаменитой китаянки\*, чьи стихи пришли на память не случайно: одинокая молодая женщина тоскует, увядая, а любимого все нет и нет.

Аля приоделась (белая блузка, белая узкая юбка, белые босоножки), припудрилась, положила в оранжевую сумку туфли и деньги и пошла, надеясь по дороге встретить хохлов и улыбнуться старшему из братьев.

Урийск бодрствовал. На площади имени Сергея Лазо, у магазинов торговали квасом и мороженым. У кинотеатра толпилась очередь — показывали новейший боевик о невероятных подвигах наших разведчиков, реклама — огромный щит три на три — заманивала: идите скорее, не пожалее, и все кончится гибелью врагов.

Аля любила эти легкомысленные фильмы, чуть было не соблазнилась и сейчас, но встретила К о н с т а н т и н а У ш и н с к о г о, учителя своего. Бабылко раскланялся и тихохонько миновал ее, но догнал и взял за локоть:

— Аля, ты все в нарсуде секретаришь? Мой внук попался на мелком деле. Парень как парень, а посмотрелся вот этих,— Бабылко показал на щит у кинотеатра,— и потянуло на подвиги... Замолви Неупокоеву словечко. Понимаешь, девочка, я бы и сам не постыдился прийти, но ты же знаешь, я под колпаком...

Аля посмотрела на Бабылко и никакого колпака не увидела у него на голове. А тот деликатно и шепотом, что совсем не походило на прежнего громогласного Бабылко, говорил:

— Теперь, когда я растерт в порошок, в сахарную пудру, и пудрой посыпают торты для начальства, а мои антирелигиозные стихи не печатают в «Умарских огнях», разве могу я стучаться к Неупокоеву?

Алю тронула беда учителя, и она простила давнюю обиду: двойку поставил за Пушкина — Аля опрометчиво назвала великого поэта верующим. Или отругал за маникюр — и поделом, поделом. Аля обещала замолвить словечко, и не шла — а парила над землей.

Но, воспарив, она притормозила шаг и внезапно поняла, что не признает улицы и квартала, где некогда стояла будка беспечных сапожни-

---

\* Стихи Ли Цинчжао.

ков. Пятиэтажки и краны захватили округу. Аля метнулась в одну сторону и в другую, сердце осело и обмерло: да что же это с городом творят — рушат крепкие дома, корчуют сады, вбивают бетонные сваи, на столбах поднимают серые коробки, не отличить одну от другой. И никого не спрашивают, не советуются, словно инопланетяне прилетели, захватили власть и творят свое, чужое, постылое. Вот объявили на слом базар и барахолку, Торговую улицу назвали Марксом, хотят народную жизнь совсем отменить, и многое им удалось, и многое утрачено. А ей, в неполных тридцать лет, как жить в марсианском городе, кого любить и помнить, кому поклоняться?..

Она стояла растерянная в порушенном околке, вдыхала запахи утра и собралась было домой. Дома не так пусто и мерзко, как на этих заново прорубленных — по живому, по памяти — улицах. Но рассмеялась: в боквом переулке, под вязами, как и сто лет назад, восседали на низких табуретах китайцы и о чем-то мирно и ловко говорили. Как и сто лет назад. Перед китайцами сидела крупная красивая молодая женщина, смотрела на свою красивую ногу в синем носке, будто самолично вылепила ногу из гипса.

Мастера переглянулись и затаились. У многострадального Винь Бао, что быстро вгонял гвоздики в полуботинок, появилась лукавая усмешка, но в усмешке была горчинка. Когда Аля пристроилась на табурет против сапожников, она увидела яблоко.

Сначала ей бросилось в глаза яркое пятно, но она смотрела, узнавая, на древние руки мастера. Руки были действительно древние, наверное, такие же древние, как их профессия. Желтизна рук отливала пергаментом. Молодая женщина встала, притопнула сильной ногой и ушла.

Сновали мимо мальчишки, один мальчишка крикнул:

— Смотрите, у него в гвоздях яблоко!..

Аля не слышала всех слов, слышала «яблоко», но поняла, что слышала и «гвозди», и не могла понять, почему мальчишка кричал о яблоке и гвоздях, вместе употребляя эти далекие друг другу слова. Она растерянно посмотрела на мастеров, потом — на то, что было при каждом: металлические лапы, на которые они надевали туфлю, на молоточки, — посмотрела на ящички, увидела яблоко и тоже удивилась: в грязных гвоздях лежит яблоко, румяное и пыльное.

Китаец, что так складно бормотал с соседями и бил молоточком по ее туфельке, перехватил Алин взгляд и сказал:

— Оттуда, с Хуанхэ, — и осторожно улыбнулся. Она тоже улыбнулась, догадавшись, как дорог ему подарок с далекой родины, оккупированной полчищами юных хунвэйбинов.

— Ну, и все, — по-детски сказал китаец, поднося на ладонях, как принц Золушке, туфли.

Она открыла сумку, доставая деньги, но китаец положил острую ладонь на ее руку:

— Не надо, барышнь, не надо. Сёдня я работаю так. А завтра он будет, — он кивнул на Винь Бао, — так, просто так... А потом и он... А это оттуда, с Хуанхэ...

Аля вслед за ним поглядела на яблоко, стараясь понять тайный смысл, который вкладывал старик китаец в свои слова.

— А ты, барышнь, не говори много никому. А то в городе будут сердиться. А зачем сердиться? — и он кротно и приятно рассмеялся, и все китайцы рассмеялись разом.

Она улыбнулась сестринской улыбкой и хотела сказать слова благодарности — нет, не за туфли, а за то, что они живы, китайцы, и любят людей; державы враждуют и придираются друг к другу, сбивают с панталыку молодежь, и гремят оружейные лафеты и танки, фанатики в офицерских погонах изучают на топографических картах подступы к чужим городам, реки оцепили колючей проволокой, на водопой лошадей не сведешь, — а простые люди враждовать не хотят, они выращивают огуречную рассаду, собирают мед, чинят обувь. Как буднично и добротно могли бы устроить мир на планете простые люди, но власть на земле захватили идеологи, и нет спасения человеку на земле.

Поняв ее состояние, китаец взял яблоко и протянул Але. Она, собрав силы, чтобы не разреветься (опять брат с сопки Маньчжурии всматривался в ее глаза), взяла яблоко, прижала к груди и пошла по городу, оглянувшись. Китайцы привстали и кланялись ей издали.

Она несла по Урийску себя и яблоко и знала, что с нею произошло непостижимое, жизнь ее теперь исполнена смыслом, пока невнятным, но высоким.

А возле чайной настиг переплеск гитары, она увидела праздных, нет, праздничных хохлов. И старший из братьев нес в руках — яблоко. Она попыталась отрешиться от этой ослепительной картины — трое украинцев, явно под хмельком, несут яблоко навстречу ей, и она несет яблоко навстречу им. Так не бывает, правда. Или бывает раз в жизни, единственный...

Они сблизили руки и лица и обменялись яблоками. Яблоко с Хуанхэ перешло к парубку с Днепра, а яблоко с Днепра перешло в ее руки. Батяка стоял руки в боки, смотрел на сына и поощрял его:

— Твоя судьба, Мирко, не гони судьбу.

Младший брат Мирки тронул гитарные струны, хохлы запели песню. Аля плохо понимала украинские слова, но запела вместе с ними.

## МАЛЕНЬКИЙ ПОРТНОЙ

*Ване Черных*

Есть на свете удивительный город. Ты захочешь найти этот город на географической карте, но старания твои будут напрасными. Урийск выдуман мной.

Однажды сильный дождь с грозой бушевал над Урийском, теплые струи ливня промыли Есаулов сад и округу; в эту ненастную ночь родился мальчик, которого нарекли ласковым именем — Серенька.

Прошло несколько лет. Мальчик, играя во дворе, все поглядывал за частокол заплота, все ждал кого-то, и чем далее — все упорнее. Менялись зимы и весны, а из дальних таинственных мест тот, кого он ждал, не приходил; мальчик постепенно забыл его образ, хотя в смутные предночные часы мальчику казалось, что отец стоит у изголовья.

Отец — вот кого безнадежно ждал мальчик.

Мама с зари до зари шила на швейной машине платья и костюмы для молодых и немолодых женщин.

Чем дольше засиживалась за шитьем мама, тем быстрее горбилась у нее спина, а глаза сквозь толстые стекла очков смотрели на мир все смиреннее. И вот мальчик заметил, что мама слишком долго вставляет в иглу нить. Мальчик сказал:

— Давай я помогу тебе.

— Помоги, — согласилась мама и, вздохнув, призналась:

— Слепну я, Серенька, и скоро ослепну совсем. Что мы будем тогда делать, сынок?

Мальчик ответил:

— Не горюй, мамочка. Я стану твоим помощником.

— О-ей, — улыбнулась мама, — помощничек. Ты ногой до педали не дотянешься.

— Ничего, я придумаю что-нибудь и дотянусь до педали.

— А то, что я шью только для женщин и девушек, не смутит тебя?

Серенька рассмеялся, ему показались забавными мамины опасения.

— Разве мальчик или мужчина не способен шить наряды для девочек или девушек, притом лучше женщин? — спросил он.

Зимой, прибежав из школы, мальчик все реже позволял себе сбегать на горку и покатаются на санках. Скоро соседские ребята привыкли: Сережа работает, Сережу бесполезно звать на улицу.

Но и как было не работать Сереньке, если мама — мастерица почти на ощупь вела шов и мучительно боялась ошибиться при раскрое отреза. И грянул грозный час, когда мать порезала вкось дорогую материю, запорыв заказ важной заказчицы. В Урийске, надо признаться, жили-были знатные и незнатные люди. Незнатные одевались в посконное, одноцветное; знатные же приносили Васильевне дорогие шелка, китайские маркизеты или тончайший шевиот (нынче таких нет и в помине).

И мама запорола дорогой отрез, села на стул, горько заплакав.

— Она уничтожит меня,— говорила мама,— у нее муж главный начальник в Урийске. Только благодаря им не обирали нас налогом.

Серенька не знал, что и делать, настолько внезапно свалилась беда, но погода сказал:

— Мама, а у этой заначальницы есть дочь или сын?

— Есть. Ее звать Стелла, девочка красивая и важная — вся в маму.

Ах, подумал мальчик, Стелла. Знаю я надменную Стеллу. Она ходит по школе как примадонна, и всем велено не трогать ее, но мальчишки так и вьжуются к Стелле.

На следующий день в школьном коридоре мальчик подошел к красивой девочке и сказал, глядя снизу вверх (она была на голову выше его).

— Сударыня,— сказал мальчик,— обстоятельства вынуждают меня искать покровительства у вас.

— Чего? Чего? — переспросила девочка Стелла. Воспитанная в доме урийского нуворища, она не готова была услышать столь изысканную речь. Если бы мальчик сказал: «Эй ты, слушай, что я тебе скажу», — и дернул бы ее за косы, — подобное поведение нисколько бы не удивило да и не возмутило ее. Вот почему она сказала, измерив взглядом мальчишку:

— Говори нормально, шкет.

— Я и говорю, сударыня,— сглотнув ком в горле, отвечал Серенька.— Помогите мне, сударыня.

— Ты что, чокнутый? Не можешь на ты? — спросила девочка, гневно блеснув глазами.

— Вы... Ты так красива... — робко пробормотал мальчик; лицо девочки вспыхнуло, будто урийский закат высветил ее лицо. Она догадывалась, что красива, но еще никто из мальчиков никогда не сказал ей об этом, а только щипали ее, ставили подножки или пытались делать намеки, которые она понимала как приглашение пройти под ручку вдоль Княже-Алексеевской улицы, в новейшие времена названной именем самозванца, при одном упоминании самозванца урийцы подтягивали животы от страха и почтения.

— Что я должна сделать? — величественно спросила девочка.

— Моя мама взяла заказ у твоей мамы и неправильно раскроила отрез. О, она не виновата! Просто моя мама слепнет. А денег у нас нет, чтобы возместить ущерб...

Мальчик бежал домой вприпрыжку. Девочка вызволит их из беды, непременно.

Стоял мягкий майский день. На тополях и березах разошлись почки, выбросив стрелчатые крохотные листочки, и терпкий запах струился вдоль улицы, не догадывающейся о страшном своем названии. У калитки, щелкнув щеколдой, опомнился, — мать ждала его на крыльце. Он всмотрелся в доброе и бесконечно родное лицо и сказал:

— Со школой покончено, мама. Мы будем жить отныне как королева и королевич,— мама не придавала значения словам «со школой по-



кончено» потому, что отнесла их к каникулам и завершению учебного года.

А небо голубело, ласточки простреливали воздух, зеленая трава радовалась глаз; коза Нюра, служившая главной кормилицей Сереньки, разлеглась посреди двора, и даже сосед—майор по прозвищу Титаник, отец Вячика, печальный после катастрофы, постигшей его, был добродушен и уютно рокотал басом.

Мать и сын поели пшенной каши, попили чайку, забеленного козьем молоком, и Серенька сказал чуть торжественно:

— Сегодня я сажусь к швейной машине, а ты, мама, будешь наставницей у меня; не противьтесь и не перечьте, Ваше величество. Час пробил!

— А уроки?—спросила мама.

— Лето на дворе!—воскликнул мальчик.—Какие уроки! Экзамены? Экзамены мы сдадим, не волнуйтесь, сударыня.

Мальчик осмотрел машину заправским взглядом портного, подтянул ремень и ослабившие винты, прокапал из масленки ходовую часть, протер ветошью корпус.

Мать взволнованно следила за каждым его движением. Сейчас Серенька, которого она мученически растила и поднимала к светлой жизни, сядет за швейную машину. Эту ли судьбу она готовила ему?

Мальчик посмотрел на маму и догадался о ее состоянии: она передавала ему не только пароль судьбы, но и ключ материального благополучия и уступала дорогу—смотри, сынок, нить под твоей рукой уходит в бесконечную даль. Попытайся на свой лад быть счастливым в стране, где все обязаны быть счастливыми совокупно.

Мальчик мысленно осенил себя крестным знаменем, сел к машине. Детство, прощай!

Мальчик опробовал ножную педаль. Э, нога провисла. Старинная машина «Зингер» намекала Сереньке—рановато он избрал тернистый путь. Но мальчик не думал сдаваться, он пошел в кладовую, отыскал давно приготовленную деревянную плешку, взял сверло, прокрутил по углам четыре отверстия, отмотал кус медной проволоки, вернулся и привязал к решетчатой педали деревянную плешку, вновь сел к машине, поставил ногу на педаль и рассмеялся.

— Влилось!—сказал он.—Поехали, мама.

— Поехали, сынок,—отвечала мать.

— Но сначала я устрою разминку,—сказал Серенька.—Сошью из лоскутков пододеяльник, а?

Мать принесла из дальней комнаты целый мешок цветных обрезков. Здесь были и легкие ткани, и тяжелые, жалкие, конечно, воспоминания о тканях, но мальчик рассыпал лоскутья по полу и прикрыл глаза:

— Какое богатство, мама!

— Ну, мы же королева и королевич,—в тон отвечала слепая мать.

Шутки шутками, но обрезные лоскутья составляли немалую ценность для портнихи и ее сына. Из этих лоскутьев были сшиты их пестрые простыни, наволочки для подушек и пододеяльники и даже подклад осенней курточки у Сереньки был многоцветным; а в прошлую зиму мать сшила для мальчика костюм арлекина, и он получил первый приз на новогодней елке. Голь на выдумки хитра, говорила мать.

— А если, мама, подобрать обрезки по цвету и веером, клиньями или лучами пошить, все соседи позавидуют нашему копеечному ковру,— еще не став Маленьким портным, Серенька начал фантазировать, и мать ответила:

— Ты и тут, а не только на огородных грядках талантливый мальчик.

— Ах, госпожа, не хвалите меня раньше срока. Хвалите, когда все женщины Урийска будут у ног Маленького портного,— и следом мать услышала странный звук и не сразу поняла: сколько лет она шила, сидючи за машинкой, но не воспринимала стрекот родной машинки отстраненно.

Сереньку же вдруг прострелило — голубой цвет показался ему цветом родины, нет, не огромной России (Россию мальчик всегда видел зеленой и золотой), а родины малой, и все любимые друзья Сереньки, все девочки и мальчики, в синей, вдали густеющей дымке привиделись ему. То был цвет возраста.

Позже к Маленькому портному придут другие цвета, подчас темные и мрачные, но сейчас, сидя за машинкой, он бежал по лугу, усыпанному голубыми васильками...

Слушание собственной швейной машинки заняло мать, а сам Серенька тоже увлекся новым делом и голубыми лоскутьями,— и оба они, мать и сын, не заметили, как кухонная дверь поползла и в комнату вошла женщина с красивой девочкой об руку.

Это была та самая важная заказчица, жена главного урийского начальника, с дочкой. Гости кашлянули. Мальчик оглянулся и страшно смутился, он никак не ожидал столь быстро увидеть девочку Стеллу в нищенском их доме на Шатковской. Хотя сильное воображение успело начертать радужную картину: много позже, став знаменитым портным, он примет заказ у городской красавицы Стеллы — летний сарафан на тонких бретельках — пока Серенькина фантазия не распространялась дальше светлого, однотонного сарафана, хотя уже и сейчас, в простой фантазии, наличествовал строгий вкус мальчика. Но знатная женщина и ее дочь явились так внезапно, так неожиданно...

Важная гостья была вежливой до приторности.

— Васильевна, у вас плохо со зрением? Ну, не переживайте, голубушка. А мальчик, какой славный мальчуган заменил вас у машинки. Как звать тебя, мальчик? Сергей? Стеллочка, смотри, как ловко чувствует себя Сережа за швейной машинкой.

— Я бы тоже училась шить, но ты считаешь это занятие плебейским, — проговорила Стелла, ее мать зарделась и тут же увела в сторону опасное признание девочки:

— Ты меня неправильно поняла. Я боялась, ты станешь сутулиться за машинкой.

Под пустую бурутьбу важная гостя забрала покромсанный отрез, и они удалились; из дверей Стелла, оглянувшись, улыбнулась Сереньке («я выполнила свое обещание», — сказала ее улыбка), и снова благословенная тишина вошла в дом Маленького портного.

Так Серенька в двенадцать лет оказался приставленным к ремеслу, и дела шатко-валко пошли. Почти все материнские заказчицы доверили мальчику пошив новых платьев, а кое-кто рискнул заказать Сереньке иные подробности туалета; Серенька смущался поначалу, но скоро решил: «Там, где велит свое работа, надо подчиниться велению». Но волнение охватывало Маленького портного всякий раз, когда заказчицей выступало юное существо, здесь, видимо, причиной была ранняя чувственность мальчика, возвращенная всегдашним женским окружением и женской опекой.

В летние дни, набухшие теплом и запахом молодой крапивы, — из ее лепестков получался вкусный зеленый борщ, — Серенька в очередной раз растерялся, когда переступила порог Тая Фатеева, соседская девочка, и переминаясь, ибо тоже была смущена, просила сшить всего лишь белый саржевый фартук для выпускного десятого класса, с гипюром, белым же, по груди и кокетливыми выточками.

Мальчик измерил ширину Таиного плеча, затем, с колотьбой в сердце, объем груди (из ханжества я чуть было не написал — объем бюста), прикинув сантиметры на вырост; будучи наблюдательным, он знал, что к десятому классу девочки перестают тянуться, но природные силы в этом возрасте столь велики, что девочки, лучше сказать — девушки, все еще поднимаются, словно на опаре, преображаясь в дивные существа, и лица их светятся в сумерках волшебной и матовой.

Трудно, но празднично шло первое рабочее лето мальчика. Серенька чередовал шитье с хлопотами на огороде.

Если издадека, из нынешней поры, посмотреть на то лето — окажется, и то лето было дивным в полном смысле этого слова. Впервые мама, пусть вынужденно, доверила сыну обильные хлопоты по усадьбе и дому; круговерть, в которой пыталась участвовать и мать, помогала им коротать время, но, странное дело, Серенька ловил себя на мысли, что он продолжает ждать чего-то необыкновенного, и, что было еще страннее, ждала необыкновенного и мать. Возможно, то особенность России — в России с семнадцатого года все ждали и ждут чего-то из ряда вон, не замечая, что оно, это из ряда вон, неоднократно и жутко сбылось. Но нам все время хочется верить, что мы достойны лучшей участи, и мы ждем ее и призываем.

Мальчик, подверженный общенациональным страстям и суевериям, не умел высвободиться из плена томительного ожидания чуда, но одно чудо Серенька, не осознавая того, свершил сам: он улучшал жизнь в оккупированной стране, взвалив на хрупкие плечи тяготы, под которыми другие начинают креститься и стонать, ныть и приходить в отчаяние.

Более всего, однако, и ближе всего было ожидание беды. С уходом знатной заказчицы мать и сын не могли больше рассчитывать на покровительство, враги не преминут воспользоваться их незащищенностью. Какие враги? Да прежде всего те, что не позволяли им шить на дому.

Ни в одной стране на планете никто не мог запретить одинокой женщине работать надомницей. Даже в фашистской Германии и даже отпетые гестаповцы понимали — не надо трогать семейный уклад, пусть хотя бы в семье царит относительное спокойствие, и в нужный момент можно надеяться, что в семье вырастет не только послушный, но и храбрый солдат или верная подруга и невеста солдата. Здесь же, в милой моей России, под мягким сапогом самозванца из грузинского селения Гори, белошвея Васильевна и ее мальчик тревожно посматривали на дорогу — не идет ли милиционер или финансовый инспектор, опаснее был инспектор. Фининспектор мог не только ободрать бедняков жутким налогом, но и конфисковать швейную машину «Зингер», а заодно отрезыв, взятые у заказчиц. А взамен? — Взамен Васильевне предлагалось, и не раз, идти в государственную мастерскую на Сталинской.

Васильевна никогда не соглашалась идти в государственную мастерскую — с девических лет она была приучена думать о сотворении прекрасного, и творила прекрасное, но не раз вместе с мальчиком она была на краю пропасти — ей угрожали большими штрафами, и только заступничество важных заказчиц спасало от разора дом на Шатковской.

Итак, высокое солнце катило серебряный обруч над городом, подступал к порогу мохнатый август, в охвостьях спелой кукурузы и укропа. Урожай обещал быть обильным, мальчик чувствовал себя богачом, не стеснясь чуждого для советского мальчика чувства. Конечно, богач — громковато сказано. Нынешний урийский подросток с улицы Маркса (не было ранее такой улицы в Урийске) все движимое (поросенок и куры) и недвижимое имущество Маленького портного той, 1950 года, поры свободно мог бы купить или обменять на японскую видеосистему. Но Серенька чувствовал себя человеком состоятельным. По признакам осень сулила десять кулей картошки, на усол подходили помидоры, крепкие и бурые, вилки капусты твердели на глазах. Тыквы огромные, как луны, упавшие в ботву, светятся по ночам с гряды. А еще будет все-кла и морковь, их придется присыпать песком в подвале; связки перца, лука и чеснока разбегутся по стенам кухни.

Было от чего радоваться, и мальчик радовался. Он и маму выводил на огород, призывая вдохнуть спелые запахи подступающей осени.

Но в канун первого сентября мальчик с ознбмом думал о том, что будет с ним и с мамой, если он не пойдет в школу. Как посмотрят на

это учителя? Главное, как посмотрит директриса, самодержица и владычица детских душ? Позволит ли директриса оставить школу?

Мама тоже понимала, что надвигается серьезное испытание. Она страстно хотела, чтобы ее мальчик учился дальше и закончил бы школу, — мечты, мечты, — но обстоятельства сложились неблагоприятным образом и ежечасно напоминали заколдованный круг: она слепа и никогда не прозреет, пенсии у нее нет. И нет кормильца — отца.

В отчаянии по ночам мать думала, не попроситься ли на Инвалидку. Инвалидкой назывался дом на окраине города для обездоленных стариков и старух. Ну, ладно, я на Инвалидку, думала мать, а Серенька? Куда Сереньку спрятать? Уж не в приют ли на Шатковской, где томятся Гавроши без всякой надежды на милосердие и ласку.

Нет! С помощью чудесной Полячки она вызволила сына из недугов — не для того, чтобы в тринадцать лет запереть мальчика в отстойник, где процветают и кипят злые пороки.

А мальчик... Втихомолку тосковал от предощущаемого расставания со школой, особенно с Тиной, математичкой. Нечто мистическое мерещилось ему в сочетании цифр и знаков, видимо, Серенька был склонен к метафизике, нежели к реальному взгляду на окружающий мир, а вот Вячик, сын Титаника и приятель Сереньки, видел только то, что видел, и ленился думать глубже и дальше увиденного. Но, говоря по правде, Тинины уроки нравились мальчику еще — а может быть, прежде всего! — и потому, что сама Тина казалась воплощением женственности. Белоснежные кофточки Тины с черным бантом и гладко причесанные каштановые волосы с белым бантом на затылке, и чуть притухший печальный взгляд Тины, речь ее горловая, будто бы адресованная не тридцати сорванцам, а только себе, и улыбка, всегда стеснительная, намекали мальчику об особой избранности Тины, но может быть, о трагичности ее судьбы. Серенька и тут оказался провидцем: в двадцати верстах от Урийска, в крепостном каземате Юхты уже шестой год томился муж Тины. Раз в году в зимние каникулы Тина ездила на свидание, но всякий раз свидание не давали под каким-нибудь диким предлогом; оттого, вернувшись, Тина приходила на уроки и присутствуя как бы отсутствовала в классе, не теряя ни с кем из ребят родства, особо же с Серенькой (а Серенька не ведал, что Тина знает об его исчезнувшем отце больше, чем он сам, Серенька, знал)...

Господи, как хочется благословенной тишины на Тинины уроках, когда ангел пролетает бесшумно по классной комнате и присаживается на плечо к Пушкину.

Но мальчику хотелось и бузотерства в спортивном зале, на гимнастических матах, — Серенька оставался нормальным мальчиком, живым и крепким шалуном.

Но от судьбы не уйдешь. И не надо уходить от судьбы. Осторожно передвигается по комнатам мать, вслепую чистит картошку, чай заваривает тоже вслепую, и Серенька приказывает себе взрослеть быстрее, что-

бы худенькая эта девочка — мать представилась ему однажды девочкой — почувствовала в нем сильную опору. Без него она погибнет.

Первого сентября мальчик не мог спать, ворочался с боку на бок, встал засветло, умылся прохладной дождевой водой из огородной бочки, отварил картошки, накрыл стол, пригласил маму. Они торжественно позавтракали.

Мальчик был уверен, что этот день — последний школьный день в его жизни, даже не день, а два или три часа, и старался настроиться строго, не распустить нервы.

Дорога до школы пролежала через Есаулов сад. Высокий и плотный забор ограждал сад, но мальчик знал лазейку и через лазейку проник в сад. Совсем другой мир царил здесь, и мальчик подумал, как мудр все-таки человек, создавая сады и парки и оберегая леса.

Минувшее лето отстояло обильным не только на огородах, но и во всей природе; Есаулов сад не был исключением. Подберезовики и опять так и лезли под ноги, мальчик почтительно переступал через грибные шляпки, но рослый куст смородины приковал внимание Сереньки, и Серенька не выдержал. Он пристроил к пеньку портфель и стал обирать губами ягоду. Едва он прикасался, ягода опадала и таяла во рту. Подняв лицо, он чуть сдвигал ягоду, смородиновый запах вбирая в себя, и видел при этом зеленый шатер сада с бронзовыми вкраплениями рано осенющей осины.

Скоро Серенька опомнился и побежал было, но поздняя россыпь фиалок остановила его, Серенька, стыдясь, нарвал крохотный букетик. Чего он стыдился? Он стыдился цветов, вторжением своим он рушил и без того недолгий их век, и стыдился того, что букетик он захотел незаметно преподнести любимой Тине, но искушение оказалось столь велико, что мальчик собрал в пучок десять коротких стебельков, осмотрелся, дав слово на обратном пути забраться в глухие заросли Есаулова сада и побыть здесь подольше.

Он успел вовремя к школе. Уже на дворе строились поклассно чистенькие, с иголочки, ребята и девочки; нарядные учителя быстро и молodo переходили через баскетбольную площадку, по сторонам которой кучились классы. Милая увядающая Тина заметила издали Сереньку, поманила пальчиком. Он подошел и, зардевшись, отдал Тине фиалки. Тина взяла мальчика за плечо и чуть притиснула к животу, как мать. Горестное чувство охватило Сереньку, он оглядел сборище школьных товарищей, и хотя среди моря мальчишек были и недруги, сейчас все они показались приятелями и друзьями; а завтра мир этот канет в невозвратное прошлое; и у Сереньки, как когда-то, в раннем детстве, защищало в носу, но он вспомнил, что отныне он Маленький портной, высвободился, словно телок, из Тининых рук и пошел к своим.

Серенька заметил сразу, что девочки за минувшее лето стали долговыми и переросли мальчиков, и было забавно видеть девчачий лес с мальчишеским подлеском. Неужто летние слепые дожди и ливни па-

ли только на девчачье царство, подвинув его к непомерному движению вверх и вширь?

Образовав стройное каре, школа дождалась трели звонка и набыла щемящую, трогательную картину — из парадных дверей школы вывели стайку теплогубых малышей, юная учительница сопровождала их, белый нагрудный бант оттенял смуглое урийское лицо. Лет десять назад, наверное, такой была Тина; и тут Серенька представил на миг эту юную учительницу у себя дома: она принесла заказ, из ситчика, и он должен снять примерку. Мысль эта — невопад — чуть насмешила мальчика, он хохотнул, чем обратил на себя улыбчивый взор Тины, и тут же сделался внимателен и молчалив.

Первачей подвели к выпускному классу, из его рядов выдвинулась дивчина. Серенька признал в дивчине расцветшую Таю Фатееву, и свой фартук признал на Тае. Тая, стрельнув по всей школьной линейке карим оком и вроде бы испрашивая разрешения или согласия, чуть потеряла каждого из первачей за ушко. Смешной этот обряд посвящения в школьники всегда нравился всем удивительной простотой и многозначительностью, и вся линейка, или каре, глухо посмеялась, как бы сразу объединившись и обещая беречь малышей, не обижать их.

А над школьным хороводом царила Анастасия, седая и мудрая женщина со свирепым оскалом рта. Даже тени улыбки не прошло по ее лицу; все, кто знал ее, принимали как должное державный вид Анастасии.

Наконец, старшие и младшие классы чинно и неторопливо потянулись к школе, на этажи, и начались уроки. Серенька услышал невнятную музыку — то ли хор, то ли оркестр поднимал к куполу мелодию, кто-то говорил речитативом, и вступали голоса, поминально сопровождая нечто уходящее, гаснущее, растворяющееся во времени. Если бы мальчик умел назвать эту музыку, он сказал бы — то Реквием по школе, по детству, промелькнувшему быстролетно.

Скоро Серенька опомнился, вспомнил маму, стал думать о маме: как она там, в кухонной светелке, наедине со своими мыслями о прожитом?..

Да, надо уходить с уроков, пора. Мама ждет. Летящий профиль Пушкина на стене, прости, я должен уйти и забыть о тебе, и лица одноклассников погасить в памяти. Вячик, я надеюсь, ты будешь забредать ко мне чаще. Прощай, Тина...

Но и третий урок Серенька досидел до конца, чувствуя себя прикованным к парте. Когда очередной звонок позвал всех на перемену, Серенька чуть помедлил, не дал воли сорваться, затем взял за спину портфель и кивнул прощально Пушкину.

В суете перемены никто не заметил, что мальчик уходит с уроков, уходит навсегда, и только зоркая Тая Фатеева узрела что-то в скособоченной фигурке мальчика, быстро подошла и прошептала: "Ты к маме, Сережа? Иди, иди. Я как-нибудь прибегу к вам... к тебе", — поправились

она, погладив его по руке. Серенька благодарно сглотнул слюну, чуть было не лизнув Таину руку.

Он был уже у парадной двери, празднично распахнутой, когда из библиотеки внезапно выдвинулась фигура Анастасии; одним взором Анастасия остановила беглеца, он оцепенело встал.

Анастасия возложила тяжкую длань на плечо мальчика. Подчиняясь тяжелой руке, он вновь поднялся на второй этаж, вошел в директорский кабинет. Там, пред ликом мудрейшего вождя всех времен и народов, — мальчик замер, ожидая казни. Он считал себя достойным казни за самовольный уход с уроков, и в какой день — Первого сентября.

Анастасия села в монаршье свое кресло и низким голосом, почти басом, приказала:

— Садись.

Мальчик сел, примостившись на край стула, и смотрел в грозное лицо директрисы. Зазвонил телефон. Рука Анастасии подняла трубку.

— Ну! — сказала в трубку Анастасия, будто кто-то был должен ей и докладывал о возвращении долга, слушала ответ, мрачно глядя на мальчика.

«Уж не обо мне ли речь?» — подумал Серенька со страхом, хотя понимал, что никому он не нужен в этом мире, кроме мамы.

— Школа перегружена и работает в две смены, — сказала в трубку Анастасия, — дышать нечем. Вы хотите, чтобы дети сидели на уроках в противогазах? — и громыхнула трубкой о рычаг, молчала минуту, видимо, успокаивая сердце, если оно было у нее, сердце.

— Я знаю, Сергей, что Августа Васильевна ослепла. Что я могу? Я могу договориться с классными руководителями, мы составим график. Все ребята по очереди будут дежурить около твоей мамы. Каждый в учебном году пропустит один день. Терпимо. Зато ты будешь учиться дальше.

— Нет, я не буду учиться дальше, — отвечал мальчик.

— Тебе надоела школа? Я не поверю, что Сергею Б-х надоела школа. Пусть другой это говорит, а ты, книгочей, любишь школу.

— У мамы нет пенсии. Поэтому я должен работать, — отвечал мальчик. — И за мамой нужен пригляд.

— А пенсия за отца?

Серенька с печальным недоумением посмотрел на Анастасию. Пенсия за отца! Придумает же.

— Прости, — сказала Анастасия. — Я вдруг вспомнила, что отец твой в бессрочном путешествии по мрачным пропастям земли.

Анастасия угрюмо задумалась, глядя в стол, покрытый зеленым сукном. Хороший зимний костюм получился бы из этого сукна, промелькнуло у мальчика, такой материал пропадает, но тут же он устыдился промелька и поник головой.

— Передай маме привет от меня, — сказала Анастасия.



Мальчик неловко встал со стула, пошел из кабинета, прикрыл дверь. Гулкая тишина стояла в школе. Чтобы не потревожить тишину, мальчик крадучись спулся по мраморной лестнице и вздрогнул от поклика. Оказывается, Анастасия звала его на минуту вернуться. Мальчик вернулся. Анастасия взяла книгу в крепком переплете, открыла титульный лист, что-то вписала и протянула:

— Это тебе, Сергей, на память о школе. Не сердись на меня, однажды я наказала тебя, — тут у державной женщины сдвинулось лицо и влага как будто блеснула в жестоких глазах.

Мальчик ушел. Книга, которую он нес под мышкой, была тяжелой и занимала его мысли, и он забыл о том, что на обратном пути хотел вновь забраться в Есаулов сад. Дома, у калитки, Серенька всмотрелся в кухонное окно, увидел маму, сердце успокоенно осело, тогда он позволил себе поставить на лавочку у калитки портфель и заглянул в книгу. «История моего современника» Короленко. Мудрая Анастасия знала, что надо сказать отроку, когда он уходит в домашний скит, в отвержение.

Прихватив портфель, мальчик с раскрытой книгой вошел к маме.

— Послушай, мама, что написала Анастасия Степановна на дареной книге: «Сергею Б-х в уверенности, что он накинёт голубой занавес на городские наши печали».

— Ого, — сказала мама, — ого! Ай да Анастасия, а мы-то считали ее чиновной педагогиней.

Под шелест страниц толстенной книги и стрекот швейной машины миновал первый календарный день осени.

Сентябрь стоял, как по заказу, ведренный, прозрачный, в нитях паутины. Запахи перезревших окраинных лесов наплывали в Урийск, мешались с молочным духом подворий. Вечерняя заря, раскалив докрасна широкий серп, долго освещала город и розово меркла за высоким погостом. В утренние часы кто-то большой и добрый, переступая мягкими лапами, заглядывал под кровли домов, и странные сны снились урийцам в сквозные утреники.

Намаявшись за день, Серенька спал как убитый, но под утро и к нему приходили небожители, среди невнятных образов мальчик угадывал образ отца; Серенька просыпался и приступал ко дню, не развеяв настроения зыбкой утренней встречи. Но суматошный день забирал мальчика, он отдавался урочной работе самозабвенно.

Перво-наперво он засыпал завалинку провеянным на солнце шлаком и накрыл горбылем, иначе позднеосенние дожди зальют завалинку, и дом исподу потеряет теплую подушку. Потом, боясь внезапной тучи, он ринулся рыть картошку, мать помогала сыну, вспеку перебирая клубни, сортируя их. Помолившись про себя («Господи, всевышний и всеблагий, не насылай дождика раньше времени»), он укрепил стенки свинарника, уминая колотушкой опилки, чтобы зимний сквозняк не прошиб свинарник, — и все поглядывал на север, откуда попахивало осенней прелью, и заметил темные тучи, застывшие холмы над городом.

Серенька пришел в отчаяние, он не успеет убрать огород, а мга подвигается к городу. Но на помощь пришли Вячик и Тая Фатеева, а следом набежали какие-то пожилые женщины: «Да мы что, некрещенные, что ли,— вскрикивали они.— Ить и мы греховны, вот и замолим грехи».

Серенькина мама посмеивалась, чувствуя общий настрой на дворе и огороде.

Но являлись и в эти дни модницы, требуя внимания, мальчик в полутчаянии крутил большелобой головой, напуская суровость и важность, но доброта, свойственная ему от рождения, унаследованная от мамы и отца, подсказывает деликатные слова, и он обещает к седьмому ноября исполнить трудновыполнимое обязательство — и неотвратно, стремительно набирает мастерство, или, как говорят в Урийске, набивает руку.

Наконец, тучи берут в полон город со всех сторон, но кто-то придерживает ненастье за удила, — а урожай убран, и даже уголь припрятан под навес (с углем опять помог Титаник), и можно, врубив электрический свет — так плотно перекрывают солнце осенние тучи, — полностью отдаться работе. Мальчик постепенно усложняет рисунок покроя, ищет собственное видение, догадываясь, что становится художником, причем вольным. Да, вольным, я не оговорился, хотя вольные художники понятие из эпохи распущенных средневековых общин, а в России вольных художников зачастую преследовали и гнобили; и даже когда мастера сотворяли дивные храмы, мастеров старались прогнать подальше, чтобы, не дай Бог, в соседней волости не поставили они храм еще краше.

За плотным занавесом предзимних туч мальчик не сразу заметил, что зоркие глаза наблюдают каждое его движение, и каждый вздох слепой орлицы, воспитавшей и поставившей на крыло орленка, прослушивается и учитывается.

Скоро злой вестник из злого мира явился и вкрадчиво постучал в кухонную дверь. То была Клавдия, идеологическая дама из гороно, то есть из городского отдела народного образования. Вы спросите: что означает идеологическая дама? А вот что: Клавдия, согласно устава ее конторы, во всем видела только два бесцветных цвета — советское и несоветское. А, скажем, национальное для нее не существовало, она и про себя-то забыла, что она русская; если обстоятельства вынуждали сказать слово о женщине, Клавдия предпочитала множественное число: «Мы,— говорила она,— советские женщины, поддерживаем», — и при этом поправляла могучий бюст; слушателям Клавдии казалось, что она имеет в виду непомерную свою грудь, и советские женщины поддерживают эту грудь.

Клавдия минуты не пробыла в доме Маленького портного и узрела в углу икону Пресвятой Богородицы. Дернувшись дородным телом, Клавдия сказала:

— Принимаете опиум? — на что мальчик и мать не отвечали, ибо отвечать было нечего.

— Мне ясно обстановка, — изрекла далее Клавдия. — Эксплуатация детского труда, так это называется у классиков.

Мать и сын молчали. Фыркнув, Клавдия удалилась. Следовало ждать новой беды. Но когда ждешь беды, она часто приходит внезапно, и мальчик прокараулил явление Выкреста. Выкрестом уриццы назвали инспектора финансового отдела городского исполкома. Некогда дьячок, а затем дьяк Никольской церкви, Выкрест, по сатанинскому наущению, выступил в местной газете с разоблачением православной веры, отрекся от судьбы своей и скоро оказался в роли фининспектора, всеми презираемого.

Войдя к Маленькому портному, Выкрест, как и положено ханже, сотворил некое подобие знамения, обратив оспенное лицо к иконе, а затем занялся богопротивным делом.

— Ну вот, — сказал Выкрест, — ловил мать, а теперь и ты, утенок, в ту же заводь подался.

— Гадкий утенок, ты хотел сказать, — поправила с сарказмом мать.

— Догадливая, Васильевна. Но не догадаешься социалистическому государству помочь, только обираешь его. — Выкрест намекал на неуплату подоходного налога. Ранее мать исправно платила налог, а сейчас решила, что закон должен быть милостив и даст возможность ее мальчику хотя бы набраться опыта. Наивные надежды.

Выкрест вынул из кирзовой сумки бланки квитанций и протянул мальчику.

— Три дня на уплату, а дальше оргвыводы, — на птичьем языке бюрократа изрек Выкрест и удалился.

Мальчик и его мама со страхом смотрели на квитанцию, там обозначена была огромная сумма за полугодие, которую следовало уплатить в Госбанк; у них и пятой доли тех денег не имелось. Пройдет десять лет, прежде чем Маленький портной почувствует себя материально независимым человеком.

Но не одни беды стучались в этот дом. Когда ручей за огородным пряслом остыл, а березы оделись в серебряный куржак, и стало легко на санках возить воду от криницы, а мать, сидя на низенькой скамеечке, научилась топить печь, не роняя уголья на пол, и готовить немудрящий обед, и Серенька мог погонять лошадку, старую машину «Зингер», вволю, а некая важная персона заступилась за мальчика, освободив от уплаты жуткого налога, — в канун Рождества в дверь постучалось юное существо и переступило порог.

Девочку звали Марыля, редчайшим именем для Урийска, а фамилию свою она не назвала, но призналась, что пришла издалека и что прийти сюда ее надумали добрые люди.

Заказ Марыли оказался прост и вместе с тем достаточно изощрен. К Новому году девочка хотела нарядиться в строгое и узкое темное пла-

тье, с вышивкой по подолу. Накладную вышивку она принесла вместе с льняным отрезом, бережно развернув сверток, и призналась, что это подарок и что на родине ее мамы строгие платья носят в рождественские праздники все девушки.

Они — Маленький портной и Марыля — посмотрели друг на друга. Слабая догадка посетила мальчика: когда-то, может быть, еще до Рождения, они виделись. Конечно, в этой догадке есть мистика, ибо можно ли до рождения видаться и затем помнить то, чего наяву все же не было, да и не могло быть.

Марыля с затаенной улыбкой смотрела на мальчика; мальчик трепетно снял примерку, едва касаясь торса девочки; он видел, волнуясь, как пульсирует тонкая жилка на шее девочки.

Девочка собралась уйти, но присела у печи: «Славно у вас, тетя Гутя», — потом приподнялась, накинула шубку, и уже от порога спросила:

— А черемуховую настоечку вы, тетя Гутя, больше не ставите впрок? — Мать встрепелась и отвечала:

— Да поставил Сережа к Рождеству. Но некому нынче пригубить вино. Сережа еще мал для вина, а я уже слишком стара.

Девочка Марыля покинула их дом. Со двора, припорошенного белой опалью, слепив снежок, она бросила Сереньке в окно. То был мягкий удар судьбы. Серенька не выдержал и выскочил, голоухий, на улицу. Они, мальчик и девочка, перекинулись, смешь, снежками, Марыля угодила Сереньке в щеку. Большой сладости мальчик никогда не испытывал, а Марыля подбежала к мальчику, сказала «Прости» и варежкой вытерла щеку.

— Завтра, — сказала Марыля, — в кинотеатре имени Сергея Лазо пойдет второй раз «Подвиг разведчика», я купила два билета. Тетя Гутя отпустит тебя...

Трубы духового оркестра слышал мальчик, провожая взором девочку Марылю, и вернулся домой. Он потрогал щеку, к которой прикоснулась Марыля.

Мать задумалась надолго. Вечером, потушив свет, мать и сын сидели у жарко пышущей печи, сполохи огня метались по кухне. Мать сказала:

— Знаешь ли ты, Сереня, кто снизошел к нам? Не догадываешься? Марыля дочь Полячки, той травницы, которая спасла тебя в ползунковом возрасте. Да, пароль оттуда. Черемуховое вино. Ни к кому и никогда я не носила в качестве гостинца черемуховую настойку, а только Полячке, опальной знахарке, исцелявшей город от страхов и недугов.

— От страхов? — спросил мальчик. — Но чего может бояться Урийск? Наводнение ему не грозит. Немец сюда не дотянулся бы. И никакой чумы не было.

— Чума, сынок, давно вошла в наш город и ходит по улицам.

— Да?

— Да... Боже, неужели и правда эта девочка дочь Полячки? Значит, апостол Андрей возвращается в Урийск. Запомни, Серенька, по улицам

нашего города, охваченного чумой, легкими шагами ходит никем не узнанный апостол...

С этого зимнего дня, подернутого белесой пленкой холодов, мальчик начал отсчет судьбы, прозревая загадочное будущее, в котором он, Маленький портной, будет повязан солнечными нитями с девочкой Марылей. Поэтому он должен сотворить для нее нечто неземное.

Но до завтра он, Серенька, будет считать удары сердца. Завтра первое в жизни свидание состоится у кинотеатра имени Лазо. Как дожить до завтра?

1990

## ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ВЕНКИ ХОВАНСКОГО

Через два года он сказал ей:

— Не рассчитывай на большее, чем это, ну сама понимаешь. А дальше — ни, не получится. Там — она.

— Да?! — вскричала она. — А если я беременна?! А если я хочу родить девочку Тату? Таточка, доню моя, я рожу тебя назло блаженному твоему папёнке...

Он отвечал, что с Татой им не светит. Изба прохудилась, а и в худой избе нет прописки, родная милиция стонит в любую минуту, зарплата, сама понимаешь, грошовая, туалет холодный, а за водой надо на колодец на Мухинской, — ей отказывали, да, ей отказывали.

Но она любила его и попыталась разжалобить:

— Меня устраивает холодный туалет, а за водой на колодец я схожу с коромыслом. И вообще, Венечка, ты вынул из меня все, что было во мне, а отдал то, что перебродило в тебе и окислилось. Теперь ты отчаливаешь в Есаулов сад, но ты пожалеешь еще, милый Венечка...

Не дослушав ее, он накинул брезентовую куртку и ушел в сад. «Прощай, Катерина, — сказал он, — ты последняя моя любовь. Но там — она. Прощай навеки».

Она пометалась по комнате и кухне, с потолка капало — всю ночь падал тяжелый дождь. Она постояла у зеркала.

— Ты стареешь, Катерина, — сказала она в зеркало, — но ты еще ничего. Может быть, ты успеешь на поезд.

И она ушла к другому, или к другим. Она бежала вприпрыжку за уходящим, уползающим поездом, срываясь с подножки, и снова цеплялась за поручни.

А Венечка ушел — к той, которую любил с незапамятных времен. Он поступался в дом на Подгорной, к полуглухой старухе.

— А! — восторженно пропела старуха, — опять тебе, Венка, не повезло! Ну, подыши, опомнись.

Старуха была матерью Антонины, девочки, а нынче, верно, дебелий женщины; когда-то он был смертельно влюблен в девочку Тоню, причем смертельно в буквальном смысле — до последнего школьного звонка он иставивал словно свеча и оправился не скоро, уже потеряв ее навсегда.

И вот он снова постучался в тот дом, где боялся дышать и где все осталось как прежде, даже девичья ее фотография на белой стене.

Он устраивался лицом к лицу с любимой. Фотография отцвела, сквозь дымку они — Антонина и Венка — смотрели друг на друга.

Старуха поила его чаем, настоящим на мяте, запах мяты окуривал Венку — когда-то пахли мятой губы любимой.

Старуха спокойно-участливо смотрела в Венкины глаза. Но он видел больше, чем хотелось того старухе. Сейчас он уйдет, ритуально прикоснувшись ладонью к щеколде, к пряслу, к калитке, а старуха останется одна, чтобы ждать письмаца Антонины из Омска. Та умотала в Омск, нашла еврея или еврей нашел ее, одолевала его в нудной тяжбе за пресловутое равенство. И, видно, одолела. Теперь зять-еврей пишет письма теще, зовет в Омск, но не зовет матери дочь ее, Антонину.

Венка возвращался в свою комнату, вынуд из мятного настоя мундштук, наращивал трубу. Женщины, делившие с ним ночи, слушали залихватый плач трубы и недоумевали, на что он надеется, Венка Хованский? Надо бы прибиться к берегу. Топляки и те, прибывшись к берегу, идут в дело. Случайные женщины не понимали диковинный рисунок его судьбы. Лишь одна Катерина, сестра милосердия, без озноба вошла в его возраст, прихваченный изморозью. Ах, согласился бы он родить девочку Тату, с вздернутым носиком и разномастными глазами в отца.

Но ястребиный взор Катерины не сулил в обозримом будущем тишины и покоя. Венка вычислил катастрофу и решил избежать поражения, но к поражению мы приговорены все, тщета жизни сулит бессмертие для избранных. Венка Хованский и мнил себя избранным. Как и все из племени талантливых сумасбродов, Венка — чем далее уходила в мать его колея — чувствовал на зубах привкус звездного часа. Случайные женщины смеялись над Венкой. Но, догоняя ушедший поезд и разбивая в кровь колени, Катерина, единственная, знала, что безумная мечта Венки однажды воплотится в явь, если обстоятельства будут тоже достаточно безумны, что в безумном городе вполне вероятно.

И Катерина сама создала предпосылки для воплощения безумной Венкиной мечты в явь. Произошло это так.

Прикрывшись стареньким плащом, Венка шел к месту службы. Возле Дома офицеров Венка всмотрелся в лицо знаменитости — не обращая внимания на потеки дождя, с афиши блистал сахарными губами и набриолиненной головой тенор, не первой молодости, определил Венка, но полный сил и достоинства. Венка усмехнулся — он безошибочно угадал, что выставленные напоказ зубы издавали вкус птичьего молока, недоступного простым смертным. Но голос, Венка знал его голос,

был подарен этому человеку свыше, и Венка посочувствовал, но не певцу, а голосу.

Венка добрел до ресторана «Умара», сбросил плащок, раскланялся с официантками, вынул из чехла трубу. Служивцы обихаживали эстрадную горку, выверяли — для Тофика — микрофон. Тофик, скрипач и певец, был в приталенной рубашке апаши, как всегда, чуть заносился. Публика любила Тофика, он олицетворял преуспевание урийской мафии, склонной к сентиментальности. В часы пик — не путать со звездным часом! — Тофику несли четвертные билеты, он отработывал их, исполняя любовные песенки.

Но мне остался,— пел Тофик,—  
Мне остался твой портрет,  
Портрет работы  
Пабло Пикассо...

Урийцы не знали и не хотели знать, кто такой Пабло Пикассо, но когда обнаглевший корреспондент «Умарских огней» статьи свои стал подписывать именем Пабло Пикассо, тираж газеты вырос вдвое.

Венка Хованский примерил к губам мундштук, пахнущий мятой, полуобернулся к товарищам, и они заиграли вальс, ностальгическое воспоминание о невозвратных временах.

За окнами безумствовала непогода, к огромным окнам ресторана прибило листья, облетевшие с тополей. А в зале было тихо, умиротворенность ранних завсегдатаев радовала Венкин глаз.

Часам к девяти наплывли — из-под дождя — молодые, впрочем, и немолодые офицеры. Тут же явились и женщины молодые и немолодые тоже. Оркестр прибавил скорость, к микрофону вышел Тофик, спел «Урийский сад», сначала песня называлась «Есаулов сад», но власти запретили старорежимное название, Тофик немедленно согласился с властями и объявлял с тех пор «Урийский сад», милую поделку на потребу невзыскательной армейской публики:

— В той дальней аллее шиповник  
Еще негасимо цветет.  
И старый, усталый полковник  
По этой аллее бредет...

— любой лейтенант мог, не заканчивая академии, вообразить себя полковником.

Но гнусность ресторанных вечеров требовала новых, бешеных ритмов. Оркестр прибавил жару, по сигналу седого ударника вскричал рок. Девки, обнажая бедра, выделяли чудеса на пяточке у эстрады.

Венка полузакрыв глаза. Они одуряют не от вина, подумал Венка, и не от тополей, раздетых ветром. Они не закольцевали судьбу. А надо ее закольцевать, как меня закольцевали две женщины, да, две женщины, Антонина и Катерина. И потому я спокоен.

В общем, это был обыкновенный осенний вечер: непогодь за окном, осеннее застолье, осенние песенки,— и Венка осенне скучал, не хотел солировать. Труба его оставалась холодной.

Но внезапно ветер выпал из горного распада, прошелестел и обмер под сводами зала. Все переглянулись. В дверях стоял как бы в нерешительности знаменитый тенор. Богатый наездник, он мог оседлать любой столик, и, наверное, каждый почел бы за честь принять гостя. Но с Магомаем Муслимовым — а это был сам Магомай Муслимов — была ослепительная женщина, ради нее притормозил он в дверях: пусть у них привыкнут немного глаза, и тогда он, об руку с ослепительной женщиной, снизойдет, да, снизойдет.

К знаменитому тенору подскочила администраторша, утратившая державную величественность в ту секунду, когда, онемев, она узнала, что в ресторан не решается войти Магомай Муслимов. Цесаревич Алексей, основывая наш город, не догадывался, что мы столь изощримся в лакействе. Магомая Муслимова под руки провели к столу, пустовавшему преднамеренно в пяти шагах от эстрады. Знаменитый тенор усадил даму, осмотрел с поволокой публику (стоит ли она его соседства?) и сел тоже.

Он приехал по заданию Госконцерта на трассу, название которой звучало для него скучно и пусто, капризничал в Нижне-Ангарске и Тынде, но после БАМа ему обещали гастроли в Голландии, поэтому он оказался в наших краях. Местные патриоты капризы Магомая Муслимова воспринимали с подобострастием и упустили, уговорили певца заехать на несколько суток в Урийск; он со скрипом согласился, понимая, что Урийск пойдет в зачет предстоящей престижной поездки в Голландию. Персональным вертолетом «Умарзолототреста» его доставили сюда, поселили — изгнав министерского чиновника — в люксе на две комнаты, с цветным телевизором и ванной в голубом кафеле, окурили вниманием и лаской. Коньяк, сыры, сухие колбасы и балыки из обкомовского буфета подавала в номер юная горничная. Горничную научили делать книксен, она приседала, показывая в прорезь кофточки крепкие груди, прокаленные на урийском пляже. Как спелую гроздь винограда Магомай Муслимов взял ее грудь на ладонь. Острый шрам — в раннем детстве кобылица рассекла ему лоб и щеку — налился кровью и разделил лицо тенора надвое. Одна сторона улыбнулась горничной, а вторая осталась неподвижной. У юной горничной зашло утлое сердце.

— Он удивительный, мама, — сказала девушка, придя в тот день домой, а ночью трогала грудь, освященную прикосновением знаменитого тенора.

Магомай Муслимов побродил по Урийску, вдыхая запахи перезрелой полыни и укропа, он тосковал по родине, но был счастлив предошущаемым путешествием в Голландию. Мусульманин, он, как ни странно, тяготел более к Западной Европе, нежели к Азии. Но самые отчаянные из урийских женщин, не догадываясь о том, подходили к нему и проси-



ли провести на концерт в Дом офицеров, он милостиво смотрел в туземные раскосые лица и отказывал. Но одну он отметил тотчас, наметанно оценив ее дерзкий ястребиный взор, стать гончей, изысканность манер, необъяснимую в этом диком городе Дальнего Востока. Женщину звали Катерина.

В предпоследний вечер он позвал ястребиную Катерину в ресторан, заходя морщась от пошлых звуков любительского оркестра. Катерина сказала:

— Тебя пристрелят наши ковбои.

Он раздул ноздри, шрам на его лице налился кровью. Демонстрация была столь внушительна, что она рассмеялась; ему хватило чувства юмора, чтобы рассмеяться тоже.

Им принесли лучшее вино — «Мельник», болгарское, из потаенных запасов — перелив вино, во избежание обид рядовых посетителей, в тонкостенный графин.

Оркестр играл «Веснянку». Тофик надтреснуто пел «Веснянку», он мог петь и ненадтреснуто, но публике нравился голос с ущербинкой. Тофик был упоен собственным меланхолическим пением и не сразу узнал, что высокий соплеменник слушает его пение, а когда узнал (ему шепнул об этом седой ударник, их главарь), из Тофикова горла посыпалась труха, так всем показалось. Тофику тут же было велено выпить три свежих яйца и петь дальше. Тофик ушел в подсобное помещение ресторана, страдальчески морщась, выпил три свежих яйца, но голос пропал, и Тофик почти плакал: Тофик, оказывается, тоже жил ожиданием звездного часа, но час его оказался крапленным.

Полузакрыв глаза и не понимая истинной причины Тофикова конфуза, Венка подумал: не надо далеко уезжать от родины, Тофик, на берегу Каспия голос твой не пресекся бы. Но, отсутствуя в полудреме, Венка понял, что и с залом происходит невиданное — обычный гул внезапно затих, стало слышно капель за высокими окнами и шорох ветра.

Венка открыл глаза и посмотрел в зал. За большим столиком, рассчитанным на четверых, он увидел вначале пробор в черной, крутолобой голове и острый шрам через все лицо — Венка узнал знаменитого певца, но для Венки этого было мало, чтоб почтительно затихнуть. За столиком, рассчитанным на четверых, сидели двое, и вторым или второй была красивая женщина. В груди у Венки защемило, он узнал Катерину, последнюю свою любовь.

До него доходили слухи о ее похождениях — замполита дивизии, насытившись, она поменяла на комдива, но скоро решила, что достойна лучшей участи, перешла на молодых комбатов и перессорила их между собой. Но никогда и ни с кем из летучих поклонников своих она не переступала порог «Умары», она не хотела нанести раны Венке, наверное, она все еще любила Венку. Но в душе ее свербило мстительное чувство, она не могла простить ему унижительной молбы о девочке Тате. Венка оставался единственным — так устроен наш окаянный мир, — чей стебель

сулил ее материнскому лону счастливое потомство. Но Венка отверг ее притязания.

Взяв себя в руки, она подняла взор и посмотрела в горестные Венкины глаза. Как птенец в гнезде, ворохнулось в ней неизжитое чувство родства с этим человеком, но она ладонью прибила птенца и, обратившись к знатному спутнику, сказала:

— Горец, мне противен этот оркестр. Неужели он не противен твоему утонченному вкусу?

Магомай Муслимов набрал полные легкие воздуха, черная атласная бабочка приподнялась и опала на его груди. Он достал бумажник (бумажник был из крокодиловой кожи), отсчитал пятьсот рублей крупными купюрами, поднялся и подошел к эстраде, подозвал Тофика.

Их разговор шел на родном языке, и первые фразы казались светскими.

— Привет с родины, — сказал Магомай Муслимов.

— Привет родине, — отвечал Тофик. — Цветут ли платаны на улице Самеда Вургуна?

— На улице Самеда Вургуна цветут девушки, не чета этим женщинам. — Ослепительную женщину Магомай Муслимов походя подвел под унылое понятие «эти». Но он знал себе цену и был вероломным.

— У меня работа, как и у тебя, — отвечал бедный Тофик. — Правда, сегодня у меня схватило горло, осень, осень.

— Ты не армянин, чтобы любить осень под чужим небом.

— Скоро я вернусь домой, Магомай.

— Я верю тебе, — сказал Магомай Муслимов. — И уважаю твое отношение к работе. Но уважь и ты меня. Хочу отдохнуть в тишине. Я устал, — он прикрыл веки, показывая, как он устал. — А завтра мне ехать в Голландию, я буду там первым от нашей страны (он хотел сказать — «от нашей республики», но сказал «от нашей страны»). Как я поеду в Голландию, если сегодня не отдохну?

— Брат, я понимаю тебя. Но у нас работа, за нее нам платят деньги.

Магомай Муслимов скорбно улыбнулся.

— Хорошо, я позову шефа, — сдался Тофик.

— Шеф, — сказал далее по-русски Тофик, — мой земляк Магомай Муслимов хочет сказать тебе сердечные слова.

Тофик удалился, а седой ударник приблизился к знаменитому певцу. Весь зал смотрел на них, но пристальнее всех следила за сделкой последняя любовь Венки Хованского. Сейчас она небывало отомстит Венке, женщины ненасытны в любви и ненасытны в ненависти.

Магомай Муслимов сказал с акцентом, который так нравится русским женщинам, в том числе женщинам-композиторшам, создательницам патристического репертуара знаменитого певца:

— Милейший, — сказал он, — дай мне отдохнуть в полной тишине. Сегодня лучшая музыка за окном. И вы отдохните тоже.

Он протянул ударнику деньги. Тот мгновенно оценил поступок Магомай Муслимова, взял деньги, в открытую пересчитал их и заявил:

— Абрек, урийская тишина стоит большего. Прибавь столько же, тебе это ничего не стоит.

— Хорошо, завтра ты получишь еще пятьсот рублей. Слово чести!

— По рукам, бандит. Слово чести! — Ударник именно так и сказал «По рукам, бандит. Слово чести!», и они обменялись рукопожатием на виду у всего зала.

В зале захлопали в ладоши. Всем или почти всем показалось, что Магомай Муслимов собирается одарить урийцев янтарным напитком из серебряного кубка своей гортани.

Но знаменитый тенор ушел к женщине с ястребиным взором и ястребиным нравом. Чувство исполненного долга приподняло его. Он поцеловал ее руку. Искушение одолевало, он хотел поцеловать ее в обнаженную спину, но удержал себя: «Магомай, ты в чужой стране», — и он поцеловал ее ястребиное крыло.

Венка мертвым взором наблюдал то постыдное, что происходило на виду у всех. Он прожил долгую жизнь, вместившую падения и взлеты, его били и он бил тоже, но всегда был предел, за который нельзя было ступить. И вот почва ушла из-под ног, он вдруг ощутил, как магма качнула планету, и этот зал, набитый под завязку пьяными сиротами, летит в тартарары. Оркестр, уложив инструменты, на цыпочках пошел во внутренние покои гостиницы, — под оркестрантами дымилась и разверзалась земля, они боялись ступить в провалы. Бедные дети Вселенной...

— Мы уходим, — сказал Венке в спину ударник. Венка почувствовал, как острие финки вошло в спину и повернулось под лопаткой. — Ты понял, блаженный? Не вздумай уросить.

Венкино лицо побелело, только бы не вынули финку, он изойдет кровью, если финку вынут. Венка нашел силы встать. Он перехватил древко золотой трубы, чтобы сделать несколько шагов впереди бойцов, а дальше они пойдут сами. Но, держа на отлете древко, он вспомнил, что бойцов купили на корню, что ж, остается умереть в одиночку...

Магомай Муслимов налил в бокалы болгарское вино, чтобы выпить с этой удивительной женщиной. Ее растерзают, подумал он. Я уеду, а ее растерзают. Они выпили. Ему показалось, что в устьях ее глаз собралась влага.

Из тумана вышел плотный карлик и сказал плотным голосом:

— Катерина, ты больше никогда не придешь в мою мастерскую. А это платье ты не носи в Урийске, ты осквернила его.

— Кто ты, малыш? — вспылил Магомай Муслимов. Краем глаза он увидел — в вестибюль ресторана вошел наряд родной милиции, и Муслимов вспылil. Теперь можно и вспылить.

— Это Маленький портной, местный законодатель моды, — шепотом сказала она и расстегнула молнии под грудью.

— Что ты делаешь?! — он схватил ее за руку. Безумный город, подумал он, и он был прав. Она захотела вернуть платье Маленькому портному немедленно, но он задержал молнии. Он налил еще в бокалы вина. Вино успокаивает нервы, сказал он. Он заставил ее поднять бокал.

Но когда он поднес собственный бокал к порочным своим губам, он увидел прямо перед собой, как офицер-десантник, с пылающим лицом, недавний ее любовник, рвал кобурю на заднице, но двое других, старших по званию, удерживали сослуживца. Сердце Магомая Муслимова превратилось в льдинку и, растаяв, оплыло под рубашкой к брюкам и в пах.

— Ты джигит или не джигит? Ты весь мокрый, — усмехнувшись, сказала Катерина.

— Джигит, — сквозь стиснутые уста вытолкнул он.

— Сиди тогда молча и береги свое холеное горло.

— Я сижу, — смиренно отвечал Магомай. — Но мне так тоскливо, будто умерла моя тетя в Баку.

— Ты умыкнул меня у города, но тебе показалось этого мало. Ты лишил мой город даже безголосого Тофика. Но ты ошибаешься, думая, что в Урийске можно купить всех и каждого...

Она говорила последние слова, зная, что Венка Хованский остался на поле и будет стоять до конца. О, она снова в эти минуты любила старого трубача. Черт бы побрал эту непредсказуемую женщину.

А Венка продул мундштук и поднял над головой тусклую радугу. Чистый звук упал в тишину, рассыпался на ручьи и клики одичавших птиц, но прошло несколько минут, сошлись в одно русло ручьи, птицы слетелись в стаю, уняв гомон. Мелодия, чуть влажная и строгая, вошла в зал и побрела между столиками.

И все мы поняли, что сколько бы мы ни рвали сердце страстями, сколько бы ни изощрялись в поисках материальных благ — над городом и миром всегда будет царствовать непризнанный и бедный трубач, гонимый и бездомный. Он уведет нас — в звездный свой час — к лучшему в нас самих, и он вернет нас к малой родине. Да, только малая родина с забытым погостом, только светлые лики детей и внуков стоят того, чтобы длить горечь жизни с ее неминуемым поражением в конце; только Моцарт и Пушкин, Булгаков и Искандер, обреченные узники, — лучшие наши спутники, а не создатели и г р и вульгарных догматов; только белое пятно девятой школы, в стенах ее ты прикоснулся к перепелиному крылу девочки Антонины — чтобы потерять, но и обрести ее навеки...

Знаменитый тенор обвел взором урийцев, и пение одинокой трубы прострелило его грудь — к нему тоже пробилось воспоминание о родине, где каждый мальчишка срывает петушиный голос поутру, подражая ему, Магомаю Муслимову.

В зал вернулся седой ударник, поднялся на эстраду и прошипел Венке Хованскому:

— Ты уволен, блаженный. Ты пошел против нашего дружного коллектива, а это значит — ты уволен. Завтра ищи место в бюро похоронных услуг.

Венка выпевал звездную мелодию. Экая важность — уволен, чтобы не видеть ваших заплывших рук и глаз, но видеть сквозные березы Есаулова сада. Там дом мой, там последнее мое пристанище, и вы никогда

не прогоните меня из Есаулова сада, вам не дано от Бога слышать шепот поющих в ненастье дубов и осин.

Знаменитый тенор опустил красивый пробор к столу, вдруг услышав разногласие бакинских мальчишек, но это было так недолго. Другие суетные мысли отодвинули мальчишек. Он поднял голову, чтобы продолжить роман с ястребиной женщиной, он не смог ее зауздать, это правда, но еще не все потеряно. Но женщины, которую он не смог зауздать, не оказалось за столом, вольные ветры вынесли ее снова к трубачу. Потрясающее зрелище для изощренного глаза художника. Распустив темную гриву волос, она стояла у ног трубача, а трубач, запрокинув истомленное жизнью лицо, не признавал, но и не гнал заблудшую душу.

Знаменитый тенор встал и пошел из зала, сопровождаемый сострадательными взорами урийцев, урийцы — жалостливый народ, и милиционеры в вестибюле, сострадая, отдали честь знаменитому тенору.

Знаменитый тенор вышел под дождь, слушал под дождем клекот трубы. Потом поднялся в номер, на третий этаж. Открыл окно, смотрел на военный плац городской площади, залитой дождем. В дверь поскреблась горничная, присела в книксене.

— Пойди прочь, — сказал он горничной.

Он стоял долго в потемках и рухнул на кровать, чтобы утром, прополоскав горло теплым молоком, снова разбазаривать богоданный талант свой по городам и весям непонятой им страны. Ему, прошедшему школу неаполитанского пения, окажется мало урока, преподанного безвестным трубачом с неотесанным лицом простолюдина.

А Венка Хованский, отслужив вечерю, шел по улицам ночного Урийска. Утробно вздыхала река за городом, принимая дождевые потоки. Венка шел по улицам, его сопровождала маленькая девочка с вздернутым носиком и разномастными глазами. Девочка шлепала по лужам.

— Тата, доню моя, — позвал Венка, и девочка кинулась к нему.

## СОДЕРЖАНИЕ

Месяц ясный . . . . .	3
Жить и умереть в Урийске . . . . .	16
Маленький портной . . . . .	25
Звездный час Венки Хованского . . . . .	39

ЧЕРНЫХ Борис Иванович

МАЛЕНЬКИЙ ПОРТНОЙ

*Рассказы*

Редактор Б. Д. Минаев

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 3.09.91. Подписано к печати 3.10.91. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать.  
Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отг. 2,28. Уч.-изд. л. 3,27.  
Тираж 81000 экз. Зак. № 846. Цена 20 коп.

---

Типография издательства «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1991 ГОДА  
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ «Тайна земли обетованной»;  
А. ПЛАТОНОВ «Технический роман»;  
В. КАРДИН «К вопросу о белых перчатках»;  
А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ «РОССИЯ—POESIA»;  
В. ТОКАРЕВА «Старая собака»;  
З. ГИППИУС «Последние стихи»;  
В. ЕРОФЕЕВ «Попугайчик»;  
Ф. ИСКАНДЕР «Поэты и цари»;  
А. ХУРГИН «Лишняя десятка»;  
Н. ИЛЬИНА «Власть тьмы»;  
Н. КОРЖАВИН «Письмо в Москву»;  
П. СТРУВЕ «Скорее за дело!»;  
Л. РАЗГОН «Перед раскрытыми делами»;  
Б. СЛУЦКИЙ «О других и о себе»;  
Б. АХМАДУЛИНА «Побережье»;  
Д. БАКИН «Цепь»;  
В. СОЛОУХИН «Наваждение»;  
Л. ПЛЕШАКОВ «Как трудно стать самим собой»;  
Н. КЛЮЕВ «Песнь о Великой Матери».